ПИОНЕР

Март

Изд-во ЦК ВКП(б) „Правда"

3

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Стр.

Стародавняя песня — *стихи Радуле Стийенскою. Рис. Ю. Кискачи* . . . 3
Мыс Мухтыль — *рассказ А. Некрасова. Рис. Б. Винокурова* . . . 8
Бой на границе — *рассказ Н. Кабакова* . . . 19
Вандомская колонна . . . 21
Чудесное путешествие — *рассказ Эриха Кестнера.* . . . 23
Составные животные — *очерк проф. Н. Токина. Рис. М. Аскинази* . . . 42
Своевольные кляксы — *рис. А. Каневского* . . . 47
Вечер. Еж — *стихи А. Оленич-Гнененко. Рис. П. Митурича* . . . 48
Поручик Тенгинского полка — *очерк Б. Эйхенбаума* . . . 51
Триумф Юлия Цезаря. Путешествие в века . . . 66
Приключения в Атахуальпе — *повесть Теодора Пливье. Рис. В. Цельмера* . . . 70
Китобои — *А. Некрасов* . . . 97
Научный телеграф . . . 101
Находчивые медведи . . . 105
Город на воде — *очерк Б. Михайлова* . . . 106

ТЕАТРЫ и МУЗЕИ

„Сережа Стрельцов“ . . . 111
Дом боярина . . . 113

ПОЧТА.

„Следопыты“ — *письмо Бори Болтенкова* . . . 115
Мой жеребенок — *письмо Баразби Хомокова* . . . 116
На дне моря — *письмо Жени Разикова* . . . 118
Тайна подземелья — *письмо Октября Яхонтова* . . . 119

Биоскоп . . . 120
Подснежники — *А. В. Кожевников* . . . 122
Самоделки. Узоры на тканях . . . 124
Загадки доктора Каррабелиуса . . . 126

На обложке — картина художника Соколова-Скаля „Внук коммунара“

П 25
34.

ПИОНЕР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Гос. Публичная Б-ка Ленинград

№ 3

МАРТ

1936

Изд-во ЦК ВКП(б) „Правда"

Стародавняя песня

Радуле Стийенский

Перевод А. Штейнберга

Рис. Ю. Кискачи

Говорят,
Что в ущельях черногорских,
Из кремневой скалы,
Течет
Источник;
Кто воды его чистой
Напьется,
Тот вовек
Не будет ведать
Счастья:
Ни жены у него
Не будет,
Ни детей,
Ни хозяйства,
Ни денег,
Ни друзей,
Ни красивой одежды.
Но зато
Его полюбит
Вечность,
Все народы
Назовут
Желанным,
Другом
Назовут его
Потоки,
Братом
Назовут его
Вершины,
И такие
Запоет он
Песни,
Что пчела,
Летящая
За медом,
Остановится
И будет слушать
Музыку
Страдающего сердца.
Эти песни
Будут
Всем на радость
Эти песни
Станут
Всем отрадой:
Облакам,
Животным
И деревьям,
Дряхлым старикам
И ребятишкам.
Расскажите,
Добрые люди,
Как пройти
К источнику песен?
Я хочу
Отведать
Горькой влаги,
Я хочу
Свои настроить
Гусли,
Я хочу вам спеть
Под рокот струнный
Стародавнюю горскую песню.
Как цветок,

Засушенный
В книге,
Меж страниц,
От времени
Желтых,
Эта песня
Нерушимо
сохранилась
В памяти
Юнацкого народа.
Я нашел
Увядшую песню,
Лепестки поникшие
Расправил,
Окропил
Водой родниковой,
И внезапно
Ожила песня,
Заиграла
Радужной окраской,
Зазвенела
Всеми голосами,
Крыльями орлиными
Взмахнула
И помчалась
В блещущее небо.
И сказала
На прощанье
Песня:
— Ты меня
К бумаге
Не привяжешь,
Не посадишь
В кожаную клетку.
Только тень мою —
Черные буквы,
Только след мой —
Бездыханные знаки,
Слабый отсвет
Звуков могучих,—
Вот и все,
Что я тебе оставлю.
Я не стал
С упрямицей
Спорить,
Я перечить не стал
Своенравной,
Наземь положил
Смычок
И гусли,
Взял перо,
Чернила
И бумагу.
Пусть мои друзья
Прочитают
Неуклюжую,
Бледную запись,
Слабый отсвет
Звуков могучих,
Бездыханную тень
Народной песни,
Лепесток,
Засушенный в книге.

Сказка про Тошу

Пересохло горло у Тоши—
Захотелось Тоше напиться.
Стал он шарить
По всему хозяйству.
Ан —
Пусты баклаги и бочки.

Заглянул он
В колодец глубокий:
Словно горло,
Пересох колодец.

Бедный Тоша
Почесал затылок:
Истомила
Проклятая жажда...
Взял он ковшик,
Резаный из липы,
Завернулся в потертую
струку,
Поглядел
На пасмурное небо
И побрел по козьей
тропинке,
Напевая турецкую песню.
Он идет
Неделю, другую,
Три недели
По горам шагает,
На исходе
Четвертой недели
Отыскал он
Озеро лесное.
Пробирается к озеру
Тоша, —
Не пускают
Цепкие ветви,
Ноги вязнут
В болоте зеленом,
На глазах
Повисла паутина.

Еле-еле
Добрался бедняга
И упал
На берег камышовый,
Ноги босы,
Струка в лохмотьях,
Исцарапаны румяные
щеки,
И ладони
Покрыты волдырями.

Так лежал он
До глубокой ночи,
Комары
Вокруг него звенели,
Бабочки
На лоб его садились,
Черный дрозд,
Молодожен счастливый,
Свил гнездо
В его кудрях намокших,
И набились
В дорожную сумку
Муравьи, клещи да
уховертки.
Стало небо
Из синего желтым,
А из желтого —
Темнозеленым,
Закатилось
Спелое солнце,
И погасла
Червонная зорька;

Почернело небо,
Потускнело,
Словно ржавая сабля
стальная...
Слышит Тоша
Легкое дыханье,
Слышит Тоша
Серебряный хохот:
То ли волны
Плещут о берег,
То ли ветер
Играет камышами,
То ли звезды
Сквозь сон бормочут
О неведомых странах
занебесных...
Подымает голову Тоша,
Протирает
Опухшие очи —
Видит Тоша
Молочную воду,
Лунный бисер
По воде рассыпан,
И купаются в озере
студеном
Пятеро девушек-
подростков.
Плещутся, как дикие утки,
Выжимают
Тяжкие косы,
Трут жемчужные спины
Друг дружке.
Кинул Тоша
В озеро камень:
Брызнуло
Стекло водяное,
Пошли круги
За кругами,
И девушки в змей
превратились,
В белых змей с пурпурными глазами.

Наклонился к озеру Тоша,
Опустил
Свой ковшик деревянный.
Зачерпнул
Волшебной водицы,
Оглянулся
И пошел обратно.

Он идет
По лесам и болотам,
Через горы шагает
Снеговые,
Бережет
Свой липовый ковшик,
Бережет
Драгоценную влагу,
Каждую каплю считает.

Вот пришел он
В хижину родную,
Вылил воду
В котел чугунный,
Нарубил дубовых
поленьев,
О кремень
Ударил огнивом
И развел огромное пламя.

Слышит Тоша
Девичий голос:
— Ай да Тоша,
Неразумный Тоша!
Или ты сварить меня
собрался
И в котле чугунном не
приметил?

Только Тоша
Развесил уши,
Из котла,
Где вода закипала,
Выпрыгнула
Маленькая змейка,
С белой кожей,
С пурпурными глазами.
Поглядела змейка на
Тошу,
Распахнула пасть
Шире неба,
Проглотила заживо Тошу,
Заодно
И тошино хозяйство:
И кожух,
И постельные вещи,
И ковры,
И столы,
И посуду,
Ятаганы,
Ружья,
И пистоли,
Проглотила дедовские
гусли,
И коров,
И коз,
И баранов.

Разнесло змею,
Словно гору,
Но змее и этого мало:
Захотелось ей,
Ненасытной,
Проглотить петуха
напоследок,
Красноперого
Петуха-горлана,
Повелителя куриного
гарема.

Но петух
Змее не дается:
Он взлетел
Над ее головою,
Клюнул в самое темя
злодейку,
Убил ее
И выпустил Тошу.

Послал за доктором
Тоша,
И пришел
Белобородый доктор,
Знаменитый доктор из
Цетинье,
Искушенный
В разных науках.
Распорол он
Змеиное брюхо,
Вскрыл ножом
Змеиный желудок
И нашел
В змеином желудке
Кунью шубу
И шубу соболью,
Шубу из персидского
барашка,
Шубу из лисы чернобурой,
Шубу из крысы-
шиншиллы,
Шубу из шипаной выдры,
Седую бобровую шубу
И кожух из кожи змеиной.
А всего числом их было
восемь.

Две понявы
Нашел он в желудке,
Новый пус нашел,
Белее снега,
Двух овец
И двух ягнят молочных,
Корову с пегим теленком
И свиную матку
С сосунками.
Шубы новые,
Как в магазине,
А скотина жирная
На славу.
Доктор сбросил
Свою ветхую шубу,
Изрядно траченную
молью,
И надел
Бобровую на плечи
(Это было платой за
работу)
Остальное
Досталося Тоше:
И скотина,
И хозяйство,
И шубы.
С той поры
Ему привалило счастье:
Завелись

И достаток,
И деньги,
Пистолеты в золотой
оправе,
Гусли выложенные
перламутром,
Новый дом,
И жена молодая.
Вот и вся история Тоши.
Если ты юнак,
Об'ясни мне,
Что бы все могло это
значить?
Коли ты
Ничего здесь не смыслишь,
В рот воды набери —
И ни звука.

Радуле М. Стийенский родился в 1903 году, в Черногории — маленькой балканской стране, которая входит сейчас в состав Югославии. Радуле—сын, внук и правнук черногорских чабанов—овечьих пастухов. В детстве он тоже пас овечьи отары вместе с дедушкой своим Миличем Пипером, известным по всей Черногории под прозвищем «добрый». Дедушка рассказывал Радуле старинные народные сказки о могучих юнаках — легендарных богатырях, о горных волшебницах — вилах, о дивах одноглазых и о многом другом. Прошло много лет. Добрый Милич умер. Радуле М. Стийенский по примеру предков, всегда боровшихся за свободу, тоже взялся за оружие. Он вступил в ряды только что основавшейся коммунистической партии Югославии. Он принимал активнейшее участие в восстании 1921 года, был в бесчисленных схватках. Когда восстание было подавлено, он ушел в подполье. Арестованный фашистами и заключенный в тюрьму, он сумел бежать из нее и вскоре эмигрировал в Советский союз.

Здесь он начал писать стихи, песни и сказки. Сначала он только пел свои песни в кругу близких друзей, акомпанируя себе на гуслях—народном инструменте черногорцев,—потом Радуле стал эти вещи печатать в журналах, наконец, в 1935 году, вышел сборник его стихов и поэм в Гослитиздате. Так Радуле сделался писателем.

Переводчик должен был оставить в русском тексте некоторые сербские слова, не поддающиеся точному переводу. Слова «струка» и «пус» из «Сказки о Тоше» означают: первое—черный шерстяной платок, узкий и длинный, который черногорские чабаны одевают в холодные ночи; второе—особым образом выделанный белый войлок, употребляемый вместо матраца.

Мыс Мухтыль

Рассказ А. Некрасова *Рис. Б. Винокурова*

Старожилы говорили, что мыс Мухтыль — гиблое место. Рыба его будто бы обходит, белуха тоже, а если забредет шальная нерпа, так с одной нерпы много не возьмешь.

Но в то время нужно было оживить мертвые промысла по всему побережью. Тогда лучших рыбаков собрали в окружкоме партии и сказали: «Берите что потруднее, а где полегче, там и без вас справятся».

Вот я и выбрал Мухтыль.

У меня в артели народ подобрался молодой, веселый, и нам наплевать было, что еще до революции шесть откупщиков свернули на Мухтыле шею. За прибылью мои ребята не гнались, скорее, хотелось попытать счастья на новом месте.

На Мухтыль мы пришли весной, когда еще лед не сошел. И в первое время нам действительно показалось, что место невеселое. Последними там побывали японцы и, уходя, постарались вовсю: постройки сожгли, салотопку, должно быть, взорвали — так она была разворочена, котел завалили на бок и из всего, что было на промысле, пощадили только две высокие жировые цистерны. Они как башни стояли на низком берегу, а кругом стлался густой кедрач да торчали кое-где обглоданные ветром головешки. Вот какое нам досталось место.

Но мы долго горевать не стали. Первую ночь провели у костров, вторую проспали в шалашах, а через месяц у нас были уже и жилые бараки, и засольный сарай, и пристань, и сигнальная вышка с флагом; дома, правда, без окон, двери без петель, и спать приходилось на мху, но стекла и петли — этого добра на катере привезти ничего не стоит. Были бы зверь и рыба.

А зверя было вдоволь. Нерпа тут на льду лежала непуганая, и мы за день солили шкур по пятнадцать — двадцать. Когда сошел лед, у нас уже накопилось такое богатство, что можно было все лето отдыхать — все равно мы остались бы в барышах. Но мы, понятно, отдыхать еще не собирались, а, наоборот, в двадцать рук плели невода, запасали лед в ямы и сколачивали лодки-дощанки, чтобы как следует встретить весеннюю рыбу.

На путину нам дали катер, и мы вдвоем с мотористом пошли в город его принимать. Амур к тому времени уже прошел, сверху пришли пароходы, и в Николаевске было тесно от людей.

Вообще-то Николаевск — тихий городишко, но весной, когда съезжаются сезонники на промысла, там пестро и весело. Толпами ходят лихие рыбаки, подпоясанные кусками белого невода, осаждают вербовочные конторы, шумят, а к вечеру собираются на берегу, и до утра над Амуром горят костры, слышатся песни и гармошка.

На базар лучше и не суйся — задавят. Но нам нечего было делать на базаре, и мы обошли сторонкой. Идем по уличке, к пристани, а навстречу нам шагает тощий бритый старичок в старомодном городском пальто и в картузе с просаленной насквозь макушкой. Идет посреди улицы, месит грязь сапогами и ведет в поводу такую же тощую, как он сам, корову. А по тротуарам бегут за ним собаки и лают на все голоса. Собаки там ездовые, чистоплотные и в грязь зря не полезут.

— Куда ты, отец, на живодерку, что ли, ее? — спросил я шутя, когда мы поровнялись.

— Что ты, сынок, она еще скотина добрая. Ты скажи лучше: где тут на остров Сахалин вербуют?

Мы ему показали, где вербовочная контора, и пошли своей дорогой.

А вечером пришли на катер, подцепили кунгас на буксир и совсем собрались в путь. Вдруг видим: на берегу, у костра, сидит наш старик, и корова тут же жует солому.

— Ну как дела-то, завербовался, отец? — спросил я.

— Нет, сынок, вербовать-то вербуют, да скотину вот на катер не берут. Знал бы — не взял.

— А ты кем вербовался-то? Директором, что ли?

— Зачем директором. Я повар, сынок. Повар первого класса, шеф-кулинар.

— Ну, раз ты повар, давай с нами ужинать. Пойдем на катер, у нас там и плита есть,—сказал моторист.

Набрали щепок на берегу, затопили плиту. Я достал всю посуду, какая была на катере, а корову тут же, на берегу, привязали к мертвому якорю.

Старик снял картуз, снял пальто и пиджак, засучил рукава, вымыл руки прямо в Амуре и принялся колдовать над плитой. Стряпать-то, по правде сказать, было не из чего: из соленой рыбы, из картошки да из муки много не настряпаешь.

Но он, видно, и вправду был шеф-кулинар. Нож у него в руках замелькал как заводной, и, казалось, он не режет им, а только показывает: этому куску лежать здесь, этому—лететь за борт, а этому—в ведро—мокнуть. И куски прыгали, куда нужно.

Уха вспенилась, вот-вот убежит. Он только посмотрел на нее, провел сверху рукой—и пена осела. А тесто в ведре, наоборот, полезло кверху, точно раздулось, и он, казалось, только придерживает ложкой, чтобы оладьи не все сразу выплеснулись на горячую сковороду.

Ужин действительно вышел первоклассный: и та самая соленая кета—«амурская ветчина», как мы ее называли, которая давно в зубах навязла, — в его стряпне стала как осетрина.

Мы ели и удивлялись. Старик тоже ел, но только он все качал головой:

— Разве это стряпня — в такой спешке да в тесноте? Дайте мне волю, я бы вам показал, как стряпают.

Потом он взял ведро и пошел доить корову. А мы переглянулись и, недолго думая, решили забрать старика с собой на Мухтыль.

Сговорились мы скоро и в тот же вечер притащили на катер его сундучок, корову завели на кунгас, навалили ей сена побольше и сделали загородку, чтобы не вывалилась от качки.

На Мухтыле мы сколотили старику маленькую хибарку рядом с кухней. Он там расставил свое нехитрое имущество, постелил на пол старый мешок, а на окно повесил занавесочки. В свободное время он любил раскладывать пасьянсы, и, когда заглянешь, бывало, к нему, не верится, что это повар: скорее он был похож на старого учителя или на фельдшера, и звали его Николай Николаич.

———

— Куда ты, отец? На живодерку, что ли, ее?

В артели Николай Николаич прижился сразу, и видно было, что ему у нас нравится, хотя недели две он все фыркал и все ему было не по вкусу: и кухня тесна, и плита неформенная (куличей нельзя печь), и нет котлетной машинки, и нет медной ступки, и что это за стол без клеенки, и без тарелок, и без вилок...

Он нам всем так надоел, что мы в первый же раз, как поехали в город, привезли и тарелки, и клеенку, и котлетную машинку, и кучу еще разных мелочей.

Зато, когда привезли, он нас каждый день стал удивлять сюрпризами: то вдруг к чаю у нас появлялись настоящие пирожные с кремовыми вензелями, то блинчики с вареньем из прошлогодней клюквы, то в жару, после обеда, полведра мороженого.

И мы все скоро так привыкли к его сюрпризам, что, собираясь в столовой, гадали, чем Николай Николаич удивит нас на этот раз. Но отгадать все равно никогда не удавалось, а спрашивать Николая Николаича было бесполезно. Если забежишь, бывало, на кухню и спросишь:

— Николай Николаич, что на ужин?

Он скороговоркой отвечал:

— Первое на ужин—лед застужен, второе блюдо—хвост от верблюда, потом—окунь свежий, потом—хвост медвежий, потом—курочка в соку, потом—лук в чесноку... Чего дам, того дам, не твоего ума это дело. Иди уж, садись...

Если кому-нибудь случалось опоздать к столу, Николай Николаич доставал серебряные часы луковицей, поворачивал циферблатом к провинившемуся и тут уже сердился не на шутку. А чтобы мы не забывали о порядке, он завел себе ржавый болт и каждый раз бил им по рельсу: перед завтраком, перед обедом и перед ужином. Вот этот порядок мы особенно почувствовали, когда рыба кета пошла рунным ходом.

Рыба — это как золото: сколько ни поймай, — все мало. Тут появляется настоящий азарт, как в игре. Не смотришь ни на что. В первые дни, когда рыба идет отдельными стайками, рыбаки не жалеют ни сил, ни здоровья, забывают об еде, об отдыхе и не могут остановиться, пока не свалятся тут же, на берегу. Да и как остановиться, когда в стайке-то сотня рыб, а каждая рыбина в полпуда весом?

Когда же придет настоящее руно, когда в море буквально можно воткнуть весло—так плотно идут жирные, серебряные лососи,— когда рыба тысячами сама лезет в сеть, тогда уже не хватает силы. Хочется взять еще, а руки уже не так тянут тяжелый невод, ноги сгибаются и едут по песку, а несметные богатства проходят мимо.

Вот тут и выручал Николай Николаич. Как ударит болтом, засосет под ложечкой, бросаешь невод и—в столовую. В столовой обсохнешь, наешься. И только одолеет сон — тут над ухом опять Николай Николаич со своим болтом.

Артель наша весной вышла на первое место. Старожилы, правда, говорили, что рано загадывать, что осень еще себя покажет. Но мы и осени не боялись. Дела наши стали крепко, так крепко, что мы откупили в собственность катер, а на осень затеяли восстановить котел, наладить паровые лебедки, салотопку, водокачку и динамо для освещения.

Для этого нужен был человек, и я в городе подыскал старого пароходного механика, которого по возрасту не выпускали в плавание.

Он сидел на берегу, получал свою пенсию, скучал и готов был пойти хоть кочегаром, только бы поближе к морю. Звали его Браун, Михаил Карлович.

Это был настоящий морской волк. Широкий, коренастый, насквозь прокопченный дымом, весь покрытый шрамами, мелкими морщинками и татуировкой. Только лысина у него была гладкая как стекло, но ее редко кто видел, потому что Михаил Карлович почти никогда не снимал форменной фуражки. Удивительнее всего были у Брауна руки: огромные как грабли, с узловатыми коричневыми пальцами, с изуродованными синими ногтями и на вид такие неуклюжие, что, казалось, дай ему иголку—не удержит. Но на самом деле он этими руками при случае чинил часы и регулировал барометры шкиперам с мелких судов.

Для нас это был самый подходящий человек. Нам нужен был мастер на все руки, да к тому же не очень дорогой.

Мы с Брауном вместе приехали на Мухтыль. Он осмотрел котел, постучал по нему каблуком, поскреб ногтем ржавчину и сказал, что сделать можно. На другой день он с'ездил в город, закупил инструменты и начал работать.

Весенняя рыба уже прошла. У нас было много свободного времени, и мы всей артелью помогали Брауну поднимать на блоках котел, ковать болты и нарезать трубы.

Как ударит болтом, засосет под ложечкой...

Работал он не торопясь, а по вечерам закуривал трубку и рассказывал нам какую-нибудь длинную морскую историю. Напрасно Николай Николаич звал нас ужинать. Он по нескольку раз принимался бить по своему рельсу, но мы не поднимались до тех пор, пока Михаил Карлович не доводил историю до счастливого конца.

Через месяц котел поставили.

Когда Браун разжег огонь в топке и стал поднимать пары, мы все стояли тут же и наблюдали за ним. Николай Николаич, и тот минут десять постоял в фартуке с дуршлаком в руках.

А Браун задирал голову посмотреть, как тянет дым, заглядывал в топку, щелкал грязным пальцем по новенькому блестящему манометру и прикладывался к котлу щекой — как греется.

В топке весело трещали дрова, в котле, внутри, что-то звонко похрустывало, точно ломались пружинки. Медленно ползла стрелка манометра, и когда поднялась к красной черте, Михаил Карлович открыл какой-то кран, оттуда стрельнуло водой, засвистела невидимая струйка пара, ударилась в песок, прокопала ямку, и песок точно взорвался: разлетелся в стороны и задымился как кипяток на морозе.

И столько силы было в этой невидимой струйке, что мы все сразу почувствовали: сумеешь направить ее куда нужно—она горы свернет.

И совсем другими глазами оглянулись и на холодное море, и на наши утлые построечки, и на хмурые сопки, отгородившие нас от всего мира.

Пока мы стояли и молчали, Браун еще раз осмотрел весь котел, потом дернул какую-то ручку, и тогда гудок на трубе захрипел, зашипел, выплюнул полведра горячей воды и вдруг загудел пронзительно, так, что должно быть, на 20 миль кругом было слышно. Потом гудок замолчал, а от сопок откликнулось эхо, только потише, точно с червонца дали рубль сдачи. И тут же, но совсем уже мелочью, медными копеечками, зазвенел рельс: это Николай Николаич звал нас обедать.

Браун подкинул дров в топку, закрыл поддувало...

— Ну, «господа заводчики», вот вам и котел,—сказал он, обтирая руки паклей,—по-старому с хозяина теперь бы магарыч, да вас тут не разберешь, кто хозяин.

———

Из всей артели один Николай Николаич не мог помириться с котлом. Он тоже, конечно, понимал, какую пользу принес нам пар. И когда циркулярная пила со звоном резала толстые кряжи на дрова, Николай Николаич растирал в пальцах сырые опилки, нюхал их и глубокомысленно говорил:

— Ишь, сила какая.

Но в душе он обижался и на то, что не он, а Браун стал первым на Мухтыле, и что порядок теперь равнялся не по кухне, а по котлу. Теперь Браун гудком созывал нас к обеду, а рельс хотя и висел попрежнему, но Николай Николаич понимал, что висеть ему осталось недолго.

Этого права—созывать нас к столу— он сначала было не хотел уступать и в первые дни, как подняли пар, пытался звонить по-старому. Но и Браун не уступил. Он следил за поваром из котельной, и, как только Николай Николаич выходил с болтом в руках, механик дергал сигнальную ручку.

Между стариками пробежала черная кошка. А тут, как нарочно, получилось так, что по целым дням на промысле оставались только они вдвоем и корова. Мы с утра брали топоры и уходили в лес валить кедры и лиственницы на дрова. Погода стояла жаркая, снег в сопках таял, и надо было не прозевать: использовать то время, когда узенький ручеек, сбегавший в море, превратится в мутную широкую реку. Николай Николаич копил свою злобу, молчал и дулся. Но так как ему непременно нужно было за кем-нибудь ухаживать, то всю свою заботу он перенес на корову.

Наскоро состряпав обед для Брауна, он выгонял корову на болото. Она щипала там сочную траву, а Николай Николаич собирал морошку, рвал высокие ирисы и, вернувшись, украшал ими опустевшую столовую.

По вечерам он брал большой ломоть хлеба, круто посыпал солью и шел все к той же корове жаловаться на Брауна. Корова с хрустом жевала хлеб, шлепала губами, вылизывала широкие ноздри, обдавала повара теплым молочным дыханием и грустно смотрела ему в глаза. Но, должно быть, она плохо его утешала, потому что он с каждым днем все злее глядел на механика.

Когда, кончив сплав, мы вернулись в поселок, старики уже открыто ненавидели друг друга. Видно было по всему, что они только ждут случая, чтобы сцепиться.

Нам сначала все это показалось смешным, и мы только удивлялись, отчего это у наших стариков так разыгрались страсти, но скоро всем стало понятно, что тут не до смеха. На носу осень, путина, работать придется без оглядки, а тут, того и гляди, подерутся кухня с кочегаркой.

Надо было, пока не пошла рыба, расстаться с одним из них. Это стало понятно каждому. Но решить, с кем расстаться, было нелегко. С первоклассной стряпни Николая Николаича переходить опять на сухомятку никому не хотелось, а остаться без механика—это значит опять все взвалить на свой горб, потому что без Брауна, мы это знали, машины и недели не прослужат.

Мы все присматривались к тому и к другому и день за днем откладывали свое решение.

Старожилы не даром пугали нас осенью. Она пришла незваная, неожиданная и в один день чуть не разрушила все, что мы сделали за полгода. С утра в тот день стояла такая жара, какая редко бывает на Охотском море. Желтые клочья пены неподвижно лежали на застывшей воде, как глет на свежей свинцовой плавке. Выгоревший за лето флаг на вышке обвис огромной розовой сосулькой, и какой-то догадливый паучок прицепил к нему свою паутинку. Она золотым лучиком сверкала на солнце, и от этого небо казалось еще чище, а солнце—еще горячее. Воздух над болотом поднимался быстрыми прозрачными струйками, а макушки сопок окутались кольцами густого тумана.

Мы смолили лодки на берегу, и кругом стояла такая тишина, что сырые дрова в костре то и дело пугали нас громкими выстрелами. Слышно было, как возится Браун с какой-то машиной и как Николай Николаич гремит кастрюлями. Где-то далеко ошалевшая от жары нерпа протяжно кричала «бэ-э, бэ-э», точно нарочно, чтобы подразнить нас. Катер и кунгас стояли неподвижно, как впаянные в море, и, казалось, никакая сила не сдвинет их с места. В воздухе остро пахло смолой.

Мы не поняли тогда страшного значения этой тишины. Нас только смутил немножко прилив, который с утра подступил к самой высшей своей границе и не хотел уходить от нее. Но и этого предостережения мы не сумели понять по-настоящему.

Вдруг вода, и без того высокая, поднялась сразу на целый дюйм. Подмытый песок зашелестел и струйками посыпался в море. Этот шелест по всему берегу раздался как протяжный вздох, и сейчас же вслед за ним с севера зашумело что-то, точно из-за поворота выскочил курьерский поезд.

Обернувшись, мы увидели, что с моря со страшной быстротой катится на нас низкий белый вал. И раньше, чем мы успели вскочить, потянуло холодом, неподвижное море раскололось на тысячу сверкающих кусков, флаг расправился и тревожно затрепетал, а свежая смола на лодках мгновенно порыжела от песчинок.

И едва мы успели отбежать подальше от моря, как огромная масса воды с грохотом обрушилась на берег, расшвыряла как щепки наши лодки, бросилась мутными реками нам вдогонку, залила костры, сорвала невод, развешенный для просушки, и медленно отступила назад, в море, унося и невод, и лодки, и все, что было на берегу.

А катер стал надыбы, оборвал якорный канат, накренился на борт и понесся как бешеный в южный конец залива.

Это было самое страшное. Без катера много не поймаешь. Не сговариваясь, не рассуждая, подхватывая на бегу концы, топоры и ваги, мы бросились бегом мимо котельни, мимо столовой, к южному краю залива.

Мы поспели как раз вовремя. Катер с проломленным бортом точно раненый зверь ворочался на мели, но каждую минуту волна могла снять его, оттащить от берега — и тогда все пропало.

Перекрикивая ветер, мы все разом бросились в воду и со всех сторон навалились на катер, стараясь покрепче опутать его концами. Так, должно быть, кидались наши предки на мамонта, попавшего в ловушку, и также старались опутать его и усмирить, чтобы он не ушел, не вырвался и не раздавил их своей тяжелой тушей.

А ветер налетал, обдавал нас соленой водой, и каждая волна старалась вырвать из рук добычу.

Все-таки мы победили.

Небо неожиданно потемнело, хлынул холодный ливень, зато ветер сразу стих, и волны, сбитые дождем, угомонились. Потом сверкнула молния, грохнул гром, раскатился по сопкам, и все затихло. Только мутные ручейки журчали, скатываясь в море. Черная туча улетела, выглянуло солнце, и море засверкало как разбитое зеркало. Шквал прошел.

Можно было отдохнуть, но вдруг с промысла донеслись неровные, пронзительные гудки: ту-ту-ту-ту-у...

И столько тревоги было в этих гудках, что мы переглянулись и опять бегом бросились туда.

Над жилым бараком вместо крыши торчали голые стропила. Толь черными клочьями свисал по стене. Большое окно в столовой вылетело начисто, под ним, среди сверкающих осколков стекла, лежал на боку измятый цинковый кипятильник. Странички какой-то книжки белыми клочьями повисли на кедраче. Пристани не было: на ее месте сгрудились изуродованные страшным ударом волны бревна и доски. Перевернутые лодки, выброшенные на берег, лежали у самой воды. Между ними скорчились на песке издохшие рыбы.

Нас никто не встретил: ни Браун, ни повар. Живы ли они? Вот, может быть, добежим сейчас до котельной, а они там лежат оба...

И сразу отлегло от сердца, когда из-за барака показался Николай Николаич. Он бежал нам навстречу, размахивал руками и что-то кричал.

Что с ним стало! И без того старый и высохший, он как будто еще высох и постарел. Вобрав голову в плечи, он испуганными глазами заглядывал нам в лица, часто и тяжело дышал, хватался рукой за сердце, а другой показывал на море и твердил одно слово:

— Голубчики, голубчики...

Далеко в море мелькала черная точка. Может быть, и не было ее, а так только казалось, но нам всем хотелось ее видеть.

Бессвязно, путаясь и сбиваясь, Николай Николаич рассказал нам о страшном событии. Когда ветер стал громить кухню, Николай Николаич бросился за помощью к Брауну. Тот послал его к чорту; у него с этим шквалом своего дела по горло, в кочегарке тоже руки нужны. Они чуть не подрались... А когда ветер стих и вода, отхлынув от берега, потащила в море кунгас, они забыли недавнюю стычку и вместе кинулись к морю. Браун с концом каната в руках успел забраться на кунгас. Николай Николаич остался на берегу. «Крепи конец, крепи!» — за-

Перекрикивая ветер, мы все разом бросились в воду...

кричал Браун, и Николай Николаич взялся крепить, да только неловко взялся и упустил. И не успел он оглянуться, как Брауна вместе с кунгасом ветер и отлив потащили в открытое море. Браун стоял на носу кунгаса и ругался последними словами. А Николай Николаич беспомощно метался по берегу и ничего не мог сделать. Он едва понимал, что кричал ему Браун. Тот кричал: «Выброску!» Но пока Николай Николаич сообразил и сделал выброску из тонкой веревки, кунгас ушел уже далеко. Все-таки Николай Николаич попробовал бросить, да где там — не докинул. Спихнуть лодку тоже не хватило стариковской силы. И, наконец, когда кунгас утянуло за бар и голос Брауна пропал за шумом отлива, повар бросился к гудку и вызвал нас.

Но и мы были бессильны. Катер лежал на мели с проломленным бортом, а наши утлые лодки хороши были только у берега. На баре зубчатой белой стеной сшибались отлив и прибой, и мы знали: сунься туда—разом зальет, опрокинет, и тогда не то что спасать, а если сам выберешься, — и то хорошо.

Страшно и тяжело сознавать свое бессилие и сидеть сложа руки, когда в море гибнет человек. Но каждый, кто плавал, не раз видел такие жестокие выходки моря.

И мы все знали, что если уж помочь нечем, то лучше и не напоминать об этом друг другу, заняться каким-нибудь делом, забыться и так сохранить спокойствие, которое каждую минуту может понадобиться моряку.

Старик не мог успокоиться. Он уговаривал нас спускать лодки и плыть вдогонку, связать плот из бревен или наскоро залатать катер. Ему все это казалось открытиями, а нам—теми соломинками, за которые хватается утопающий и которые все равно никого не спасают.

Все, что мы могли сделать, мы сделали. Мы послали нашего лучшего скорохода на соседний промысел. Там есть телефон, можно поднять тревогу по всему побережью, отправить катера на поиски... Но до ближайшего промысла двадцать миль трудной до-

роги, и пока доберешься туда, пока выйдут катера да пока будут искать, беспокойное Охотское море ждать не станет...

Мы знали это и молчали.

А повар и тут не успокоился. Он все приставал к нам и каждым своим словом, точно нарочно, подчеркивал и без того безнадежное положение.

Я не выдержал. В первый раз за все время я грубо прикрикнул на старика и прогнал его на кухню. Нужно было скорей занять делом людей, пока нервы у всех не расходились от усталости и от всей этой страшной истории. Ведь это сказки, что у моряков железные нервы: моряки — такие же люди, как и все.

Работы, к счастью, было довольно на каждого. На то, чтобы прибрать промысел, починить постройки, развесить невода, распутать концы, не хватило бы и целого дня. А солнце уже скатилось за сопку, и с севера, с моря, надвигались на нас густые холодные сумерки.

Сам я пошел к котлу. Было время, когда я плавал кочегаром, и с тех пор понимаю кое-что в этом деле.

Котел еще не остыл. Топка погасла, но осталось еще фунтов двадцать давления, и от стенок шла густая мягкая теплота.

И мне вдруг стало не по себе: вот котел еще теплый, и кучка дров, заготовленная Брауном, лежит тут же, а самого его нет, и не вернется он и не постучит своим синим ногтем по стеклу манометра.

Я разжег топку и стал поднимать пар. Завтра с утра котлу и лебедкам много работы. Надо будет растащить сломанную пристань, откачать воду из погребов, поднять на берег лес, напилить дров...

Еще много придется поработать, пока все будет по-старому, как было до шквала...

Когда стемнело, я вдруг вспомнил, что не ел целый день, и пошел на кухню. Николай Николаич сидел неподвижно у двери своей хибарки, смотрел на море и даже не обернулся, когда я спросил, нет ли чего поужинать. Я не стал его беспокоить, пусть сидит: нам тяжело, а ему еще тяжелее. Я отрезал ломоть хлеба и пошел назад, в кочегарку.

Опять стало тихо на Мухтыле. Слышно было, как ребята, укладываясь спать, ругают ветер, сорвавший крышу, и дождь, вымочивший одеяла.

Потом я набил топку, прикрыл поддувало и прилег тут же, у котла, на куче старых неводов. Это старик Браун устроил себе гнездо: он часто оставался здесь ночевать...

Мне показалось, что я на секунду только закрыл глаза, но на самом деле я, должно быть, спал долго и крепко. И когда гудок заревел у меня над головой, я не сразу разобрался, в чем дело.

Николай Николаич с фонарем в руке, запрокинув голову, стоял у котла, дергал сигнальную ручку и один за другим посылал тревожные гудки в непроглядную ночь.

На нем было то самое пальто, в котором я его встретил в первый раз в Николаевске, и это городское пальто, и фонарь в руке, и сам Николай Николаич ночью, в грязной промысловой кочегарке,—это было так непохоже на правду, что мне показалось, будто я еще сплю...

Нет, я не спал. Я вспомнил весь этот страшный день, и другая разгадка пришла мне в голову: Николай Николаич просто свихнулся!

И не успел еще я решить, что тут делать, он распахнул дверь и бегом побежал на берег.

«Топиться»,—мелькнуло у меня в голове, и я бросился за ним. Из барака выбегали потревоженные гудком ребята.

А Николай Николаич вскочил на опрокинутую лодку и стал размахивать фонарем, точно хотел изловчиться и подальше зашвырнуть его в море. И когда я подкрался и уже нацелился, чтобы неожиданно схватить его сзади, разгадка странного поведения нашего повара пришла сама собой: с моря, прямо на нас, глядели три огонька: красный, зеленый и над ними крошечный белый. Прямо на промысел шло судно...

Просто Николай Николаич не спал, смотрел всю ночь на море, высмотрел огни и решил гудком и фонарем зазвать их к нам, на Мухтыль.

У старика не было морского опыта, но несчастье подсказало, что делать, и вот, словно в награду за его тревогу, пришло судно, а вместе с ним появилась надежда.

На судне есть радио, сейчас сообщим «всем, всем, всем...» Кто-нибудь да найдет, не дадут погибнуть человеку.

Стало сразу легче на душе и у нас и, должно быть, у старика тоже.

— А ведь, может, и выручат, — сказал он, и мы все молча согласились: да, может, и выручат... Молодец повар: не зря караулил.

———

По тому, как близко подошло судно, мы поняли, что это небольшая шхуна. Она прошла через бар, в самую бухту, бросила якорь, и теперь, должно быть, оттуда спускали шлюпку. Так и есть. Вот она отделилась и огненной точкой поползла по воде. Это фонарь на носу. От фонаря по воде расходятся блики, и слышно: стучат уключины...

Холодный ветерок потянул с моря, и на берег с ворчаньем взобралась седая волна. Еще две таких волны, а с третьей и шлюпка выскочит на берег. Я вдруг представил, как из нее выйдут незнакомые люди, узнают о нашем несчастье и разведут руками: радио нет, а самим и идти не стоит. Где там, в море, искать какой-то кунгас!..

И тут уж Николай Николаич не выдержит, непременно свихнется, когда рухнет за ним последний мостик к потерянному спокойствию. Может, это и лучше для него — совсем потерять память, чем жить и помнить все время, что Браун в последнюю минуту, захлебываясь горькой водой, проклинал его как убийцу, но мне стало жалко неповинного ни в чем старика, и я отослал его с берега.

— Давай-ка, Николай Николаич, сварганъ чаю, что ли, встречай гостей, — сказал я.

Николай Николаич послушно заторопился на кухню.

Минуту спустя шлюпка с хрустом врезалась в песок, и из нее один за другим стали выскакивать люди.

Я поднял фонарь и шагнул навстречу. Но когда свет упал на лица этих людей, я попятился от неожиданности. Впереди, в своей вечной фуражке и в потертом кителе с позеленевшими пуговицами, на берег поднимался Браун. Мне нечего было сказать, и он заговорил первый.

— Что, не ждали? А я взял да пришел. Меня огонь не берет и вода не принимает! Старый моряк—вся грудь в ракушках!—рассмеялся он и сунул мне свою широкую лапу.

Я бросил фонарь и ухватился за нее двумя руками, точно Браун собирался бежать.

Потом кто-то поднял фонарь, кругом тесным кольцом сбились ребята.

— А повар где? Или боится, что я ему шею наломаю? Надо бы, да что с него взять, когда у человека руки худые... Так не ждали, значит?

— Не ждали, Михаил Карлович, — признался я, — ни тебя, ни шхуны не ждали. Один повар ждал. Всю ночь вахтил и, слышал, небось, поднял тревогу. Он тут сам не свой ходил целый день, исстрадался, как бы ты чего не подумал.

— Чудак-человек, да кто же подумает?— удивился Браун.—Это подлецом нужно быть, такое подумать...

Когда мы подошли к столовой, Николай Николаич уже разжег плиту, засветил лампу и выставлял на стол свои замечательные варенья и печенья. Он как раз шел из кладовки с тяжелой банкой в руках, и когда Браун появился на пороге, Николай Николаич охнул и выпустил банку. Она скользнула у него по животу, шмякнула об пол, разбилась, и во все стороны потекли из нее темные, густые ручейки.

— Будь ты трижды неладный,—заворчал Николай Николаич и, присев на корточки, стал загонять ручьи в щель.

— Полно, Николай Николаич! Брось ты ее, потом подберешь. Давай-ка, стряпай чего посущественнее, встречай друга,—сказал я.

Николай Николаич посмотрел на меня снизу вверх:

— Какой он мне, к чорту, друг, прости господи! Механик, одним словом,—и все тут. Морошку из-за него расколотил, из-за друга...

Николай Николаич встал и обтер руку фартуком.

А четверть часа спустя уже весело гудела плита, что-то шипело на сковородках и Николай Николаич шумно суетился за дверью.

А в столовой Браун рассказывал. Рассказывал, как всегда, спокойно, точно не с ним случилась эта история, а где-то он ее слышал и теперь, чтобы похвалиться, приписывает себе.

Он не даром знал море. Каким-то особым чутьем, без приборов и даже без звезд на небе, он узнал, что его вынесло в Шантарам. Когда стало темнеть, он набрал смолы на ботах кунгаса, растрепал кусок каната и сделал факел. На огонь повернула шхуна рыболовного надзора... Но для нашего механика это не было неожиданностью: по его словам, он ни минуты не сомневался, что это так будет.

И в его рассказе все получалось так просто, что, казалось, каждый сделал бы так же. И все-таки нам было так интересно, что мы ничего не замечали, кроме этого рассказа. Мы не заметили, что затих Николай Ни-

колаич, не учуяли дыма и очнулись только тогда, когда Браун, неожиданно оборвав рассказ, поднял голову и строго спросил:

— Кок! Чего палишь?

И, обернувшись, мы заметили, как шмыгнул в дверь Николай Николаич, а секунду спустя оттуда послышалась ругань:

— Тьфу ты, пропасть! Вернулся ты на мое несчастье со своими рассказами. Кабанчика целое лето на погребе берег, думал, для какого для праздника. А теперь с тобой—сжег. Срам-то какой, будь ты трижды неладный!

Но кабанчик и подгоревший оказался очень вкусным. И мы долго еще сидели в столовой, говорили и слушали. Потом разбрелись спать.

Брауну постелили в столовой, и скоро он захрапел на весь Мухтыль. Я опять ушел к котлу и улегся в «гнезде». А утром повар растолкал меня за плечи:

— Восьмой час, на работу пора. Вставай, старшина, буди людей...

— Так чего же? Дай гудок, небось, теперь знаешь, как, — сказал я, повернувшись на другой бок.

— Зачем гудеть,—сердито заворчал Николай Николаич.—И без гудка хороши. А механик пусть спит: чего зря человека тревожить? Ну вставай, вставай, долго я над тобой стоять буду? Дела-то вон сколько..

Что это такое?

Что за странное существо на этой фотографии? Может быть, это морда зверя вроде ежа или дикобраза? На фото ясно видны иглы, торчащие во все стороны!

Может быть, это голова птицы? Вы посмотрите на ее четыре зуба: они напоминают клюв попугая. А может быть, это рыба, раздувшаяся как шар? Только что же за уши торчат у нее? Ведь ни у птиц, ни у рыб таких ушей не бывает.

Вам, наверное, не догадаться, что это такое. Немного терпения: на странице 46 вы все узнаете.

На снимке: товарищи СТАЛИН и МОЛОТОВ с пограничниками И. Влачем и Н. Кабаковым, награжденными орденами Ленина.

Тов. Кабаков обернулся к товарищам Сталину и Молотову и разговаривает с ними.

В этом номере мы помещаем рассказ тов. Кабакова „Бой на границе“

Бой на границе

Рассказ помощника командира взвода пограничной охраны Николая Кабакова

Когда мы выехали в наряд, на дворе было еще темно. В ложбинах лежал густой предутренний туман. В воздухе пахло сыростью.

Мы ехали на конях по узкой тропинке, продираясь сквозь колючий густой кустарник. Ветки хлестали нас, цеплялись за одежду.

Ехали мы осторожно и не разговаривали. Эта дорога была нам хорошо знакома. Каждую сопку и выбоину мы здесь знаем. Но в наряде надо заглядывать за всякую кочку: не прячется ли кто-нибудь?

Много раз пробовали японо-манчжурские отряды нарушить нашу границу. И поодиночке и группами пытались они перейти нашу границу, чтобы шпионить и вредить нашей стране.

Только не было еще случая, чтобы наши пограничники пропустили врага.

И сейчас вот едем мы, и каждый зорко смотрит по сторонам. Ветер шумит, а мы вслушиваемся: не шаги ли?

Кони наши идут тихо, не фыркают. Конь всегда предупредит не хуже чем собака: начнет водить ушами—значит впереди кто-то есть.

Настроение у всех боевое. Чувствуем, что будет сегодня дело.

Приехали мы на сопку «Васютино». Это высокая сопка. С нее, куда ни взглянешь, все видно кругом. Солнце поднялось уже высоко. Небо ясное, голубое. Мы слезли с лошадей. Я выставил двоих бойцов наблюдателями вперед. Сами мы замаскировались травой и ветками. Лошадей привязали к дереву. Лошади у нас приучены: тихо стоят, не играют.

Кругом растет березняк, невысокие дубки. Отойдешь на несколько шагов—ничего не заметишь. Кажется, что ни одной живой души тут нет. Уж на что дикие козы пугливы, а и те ходят совсем близко от нас, щиплют траву.

Посмотришь—до чего же все спокойно, мирно кругом! Только пограничника не проведешь. Мы знаем, что враг может появиться в любую минуту, в самый неожиданный момент.

Долго лежали мы так, в засаде, а сами не спускаем глаз с границы. День уж кончался. Солнце начало уходить за пади. Я достал провизию: хлеб, мясо, яйца — и разделил между бойцами.

Вдруг слышу: Руденко-наблюдатель—он сидел на самом высоком выступе сопки — подает знак: хрустнул пальцами, словно сломал сухую ветку. Сигналит мне. Я взобрался на верх сопки, вытащил бинокль. Вижу: длинная, черная цепочка людей движется через границу. Подошли они ближе, я разглядел: впереди человек пять, а за ними целый отряд. Я просигналил заставе, а сам бойцам приказываю приготовиться к бою. Бойцы в моем взводе—комсомольцы. Это народ быстрый и акуратный.

Воропаев зарядил диски, приготовил пулемет. Пискарев и Машкин достали гранаты. Один боец вывел лошадей из прикрытия и держит за поводья. А я в бинокль вижу, что противник остановился и совещается. Постояли они недолго и опять пошли вперед. Зашли они в глубь нашей территории больше километра. Я тогда выслал вперед двух бойцов предупредить нарушителей, что они зашли на нашу территорию. На мирные сигналы бойцов японцы начали стрелять. Вооружены они были хорошо: винтовками и пулеметами. В это время прискакал с заставы Иосиф Влач с пятью пограничниками, но все же нас втрое меньше чем противника.

Влач поскакал вперед, кричит им:

— Назад!

А они стреляют по нашим бойцам и бегут вперед. Видно, хотели нас окружить.

«Ну,—думаю,—не бывать этому никогда,

не проведете нас!» Отдаю приказание заехать в тыл противника. А расстояние до них было еще километр.

Оставил я одного наблюдателя на сопке, вскочил на своего коня, пришпорил его. А конь у меня «Голос»—умный, горячий конь. Я брал на нем много призов. Чует «Голос», что серьезное дело. Как рванется он вперед и помчался по пади. За мной поскакали остальные бойцы. Нам нужно было обойти противника с правой стороны. Мы скачем вперед что есть силы, не разбирая дороги. А лес тут густой, путь тяжелый: то в гору, то под гору.

Едем мы цепью. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочили на нас пять диких коз и прямо кинулись под ноги лошадям. Козы мечутся по тропинке, не знают, куда деваться. Один наш боец пугнул их—убежали.

Об'ехали мы японцев. Совсем близко слышим выстрелы. Соскочили мы с лошадей, посмотрели на падь, а там ничего не разберешь—один дым. Это противник нарочно траву поджег и устроил вроде дымовой завесы, чтобы его не видно было.

Мы стояли на пригорке. Увидели они нас и направили пулемет в нашу сторону. Мы залегли и поползли вперед на животе. Ползем, а над головой пули свистят и щелкают кругом. Я прополз вперед, к кустам, установил там пулемет. Хоть и сильный дым стоял в лощине от горевшей травы, но Воропаев точно нацелился. Пулемет наш застрекотал, и сразу упало три человека.

У противника поднялась паника. А со стороны границы к ним на подмогу идет целый конный отряд. Ну да мы их так встретили, что они завернули обратно.

Подбегает вдруг ко мне Пискарев и кричит:

— Товарищ помкомвзвода, сюда скорей!

Машет рукой. Побежал я к нему навстречу. Вижу: лежит красноармеец, руки в разные стороны. Нагнулся я — Валька! Самый мой хороший друг. Мы с ним и учились вместе и на границе служили вместе.

Смотрю: дышит он тяжело, глаза стали туманные. Оттащили мы его за кусты. Хотел я у него винтовку взять—не отдает.

— Сам, — говорит, — буду еще стрелять.

А я Валентина знаю хорошо и настаивать не стал.

— Где пуля, Валька?—спрашиваю.

Показывает он на грудь. Разорвал я у него рубашку пополам. У самого сердца топорщится бугорок. Это пуля: она в груди застряла. Вытащил я свой индивидуальный пакет, начал перевязывать его. А японцы прямо в нас стреляют. Пули свистят совсем низко, над самой головой.

Вижу я, что Валентину плохо. Думаю: что делать? Оставить его жалко. А нас мало—18 человек, тут каждый боец нужен, а тем более я — помкомвзвода.

— Хочешь, Валька, воды?

— Нет, Коля... Задыхаюсь я... Ты иди...

Умирает Валентин. Положил я его поудобнее, заметил то место, где он лежит.

— Кончится бой, Валентин, приду сюда.

А стрельба все продолжается.

Кругом уже стало темнеть. Пошел мелкий осенний дождичек. Мы все были потные, а тут сразу стало прохладно. Мы с бойцами наступаем на врага. Влач—с одной стороны, я со своими бойцами—с другой.

Японцы понесли большие потери и побежали обратно. А мы их до границы таким маршем гнали, что на всю жизнь, наверное, запомнят они этот день.

«Проводили» мы их до границы. А дальше — ни шагу: наш пограничник не нарушает чужой границы.

Побежал я скорей обратно. Одна мысль в голове: жив ли Валентин?

Кругом темно, никак не найду того места, где оставил его. Днем-то нашел бы по кустам, а ночью все кусты кажутся одинаковыми. Увидел я: болтается между веток беленькая тряпочка. Это я, когда уходил, повесил кусок бинта.

Подбежал я к Валентину. А он уж мертвый. Поднял я своего друга с земли, положил его поперек седла впереди себя, вскочил на коня и поехал.

И решил я в ту темную ночь, когда вез мертвое тело Валентина, отомстить за него.

У нас, на заставе, все любили Валентина Котельникова. Это был самый лучший физкультурник. Бывало, как начнет на турнике упражняться, все сбегались смотреть. Другие перевернутся раза два и отходят в сторону. А Валентин как начнет крутить солнце—так и конца, кажется, не будет. Участвовал он во всех вечерах самодеятельности. Лучше его никто не играл на гармошке. И товарищ он был очень хороший.

До утра мы сидели на сопке: огня разжигать нельзя, а холодно. Сели мы поплотней друг к другу и шопотом говорили. А утром пошли в ту ложбину, где вчера был бой.

Вся трава сожжена, на земле валяются стреляные гильзы от патронов. Стали мы трофеи собирать, слышим кто-то жалобно повизгивает. Подкрались мы осторожно к

кусту, а за ним лежит собака. Как увидел ее Немчук, бросился к ней. Его эта собака-то была. Во время боя ее ранили, и она всю ночь тихонько пролежала в кустах. А как увидела своих, узнала, так и завизжала. Подобрали мы ее и поехали на заставу.

На другой день похоронили мы Валентина Котельникова со всеми воинскими почестями, как подобает герою. Над его гробом мы поклялись еще бдительнее охранять границу.

Начзаставы тов. Черных послал телеграмму в Донбасс, родным Валентина. Через некоторое время мы узнали, что на нашу заставу едет добровольцем двоюродный брат Валентина—Петр Котельников.

Я встречал Петра в Никольске. Вылез он из поезда, поздоровались, и поехали мы к себе на дрезине.

На другой день выехали мы на заставу им. Валентина Котельникова. Петр ехал в тачанке, а я рядом—верхом. Под'ехали мы к могиле Валентина: сняв фуражки, мы долго стояли у его могилы. Посмотрел я на Петра и подумал, что он похож на Валентина.

На пути к заставе большой перевал. Мы слезли с лошадей и пешком пришли на заставу. А застава — это небольшой поселок на склоне перевала. Привели мы Петра в общежитие, и тут рассказал он о том, как узнали в Константиновке о смерти Валентина Котельникова. Когда Петр получил телеграмму о том, как погиб Валентин, он решил стать на место брата. Сказал об этом отцу. Отец ответил: «Правильно, будь я моложе, сам бы пошел!»

Утром, через несколько дней, начальник заставы товарищ Черных передал Петру винтовку, остро отточенный клинок Валентина и его гнедого коня «Гонг».

— Это оружие и конь принадлежали Валентину,—сказал Черных,—ты приехал его замещать. Носи с честью оружие своего брата.

Взял Петр своего коня за повод. Вложил клинок в ножны и сказал всем бойцам:

— Буду стоять на страже границ как брат!

И в дождь, и в пургу, и темной ночью, и днем стоят часовые на своих постах.

Мы знаем, что враг притаился и ждет момента, когда пограничник отвернется, чтобы проскользнуть неслышно на нашу землю.

Но глаз часового зорок, напряженно ловит он каждый звук. Вместе с ним его друзья—собака и конь.

Вандомская колонна

Памятники ставят великим людям после их смерти. Наполеон решил прославить себя и свою армию прижизненным памятником.

Это было в 1806 году, после победы, одержанной Наполеоном под Аустерлицем.

Возвратившись из похода, Наполеон призвал архитекторов и скульпторов. Он приказал им воздвигнуть в центре Парижа, на Вандомской площади, грандиозный памятник из пушек, захваченных им при Аустерлице. Постройка длилась четыре года. Наполеон нетерпеливо следил за ходом работ и торопил архитекторов.

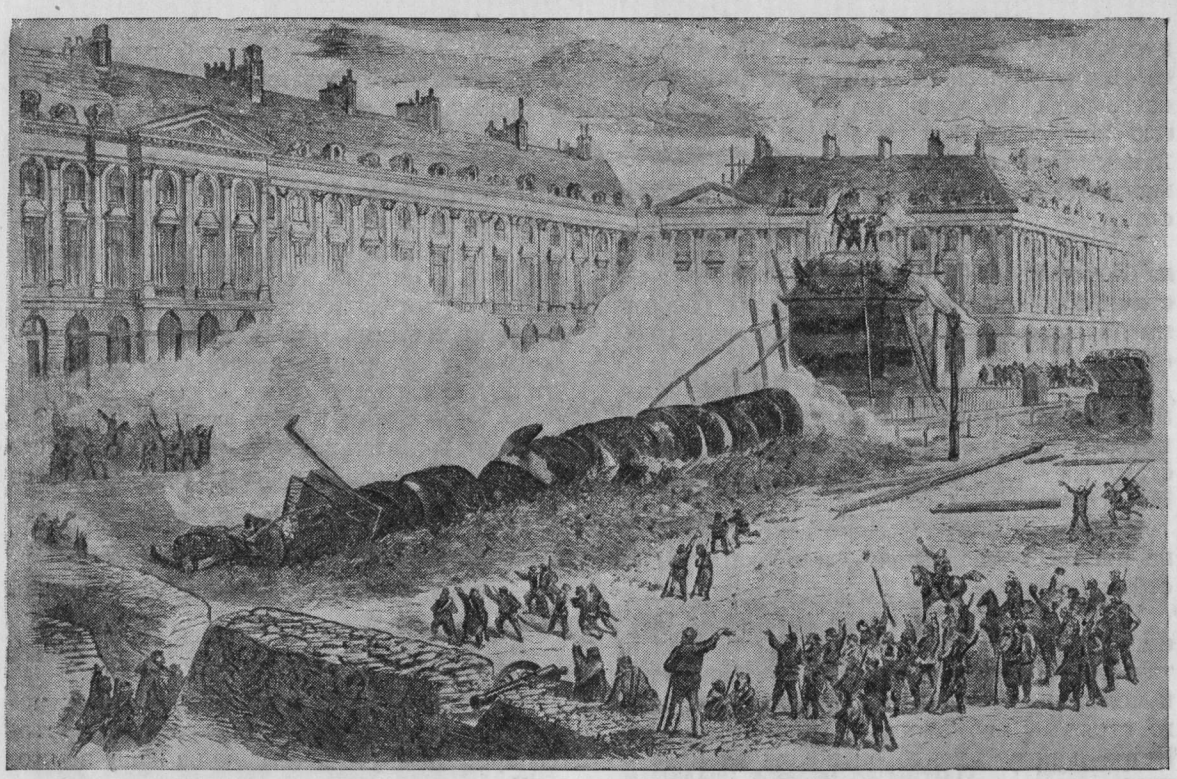
В 1810 году Париж увидел долгожданный памятник. В центре площади возвышалась громадная украшенная барельефами колонна. Наверху, на высоте 43 метров от земли, стоял бронзовый Наполеон. Для пущей торжественности скульптор одел Наполеона как римского полководца и надел ему на голову лавровый венок.

Внизу, на бронзовой доске столба, стояла латинская надпись: «Наполеон, августейший император, посвящает великой армии этот памятник, вылитый из бронзы, захваченной у неприятеля в 1805 году, в войне с Германией, законченной под его предводительством в три месяца».

Впоследствии писатель Александр Дюма насмешливо предложил другой перевод высокопарной латыни. Он говорил, что памятник этот — «гробница воинской славы», а построен он на деньги, сворованные у побежденных.

В 1871 году, в дни Парижской коммуны, революционный Париж вспомнил о наполеоновском памятнике грабительским войнам.

Такие же грабители стояли тогда под стенами Парижа. На этот раз это были немцы, вторгшиеся во Францию, и контрреволюционные войска Тьера.



Свержение Вандомской колонны. *По гравюре того времени.*

Париж задыхался, отрезанный от всей Франции. Его героические защитники питались чем угодно, даже павшими лошадьми, даже крысами. И все же революционный Париж не сдавался.

Наполеоновская колонна торчала в центре Парижа как «варварский монумент, символ грубой силы и ложной славы». Так сказала Коммуна. И постановила снести этот позорный памятник.

Дело было нелегкое. Ведь одна бронза на памятнике весила 2 миллиона килограммов. А это была только облицовка гранитной колонны. Как свалить такую громаду? От сотрясения могли треснуть стены домов вблизи площади.

Работы по сносу колонны Коммуна поручила замечательному художнику и революционеру Огюсту Курбэ.

В три часа дня 16 мая на Вандомской площади раздался сигнальный рожок. Площадь очистили от людей. Тысячи парижан запрудили все прилегающие улицы.

На опустевшей площади высилась гигантская колонна, снизу доверху опутанная тросами. Мостовую рабочие выстлали мягкой подстилкой из соломы, навоза и фашин.

Инженеры все высчитали, приняли все предосторожности, чтобы колонна упала, как ей предназначалось. И все же все с трепетом ждали момента падения.

На балконе одного из прилегающих зданий собрались члены Коммуны.

Оркестры заиграли революционные песни. Курбэ подал знак: «Начинай!» Рабочие разом натянули тросы.

Колонна качнулась на своем цоколе.

Еще момент — и вся громада с гулом и звоном рухнула на мягкую подстилку.

На несколько минут все скрылось за облаком пыли.

А когда пыль рассеялась, парижане увидели на цоколе сброшенного памятника рабочих с высоко поднятыми красными знаменами.

Колонна свалилась на соломенную и навозную подстилку, расколовшись на несколько частей. Бронзовый Наполеон лежал обезглавленный, а в нескольких метрах от него валялась бронзовая голова, украшенная лавровым венком.

Чудесное путешествие

Эрих Кестнер.
Перевод с немецкого.

Что произошло тридцатого февраля

Случилось это 30 февраля. Понятно, что в такой день дядю Рингельхута ничем нельзя было удивить. Случись это двумя—тремя днями раньше, — дело другое. Но 30 февраля человек должен быть готов к чему угодно. Как раз в этот день дядя Рингельхут был свободен. Он зашел в школу за своим племянником Конрадом, и теперь оба они мчались вдоль по Глассисштрассе. Конрад был мрачен. Но дядя не замечал этого: ему хотелось есть.

Однако позвольте познакомить вас и с дядей и с племянником.

Рингельхут — дядя Конрада с отцовской стороны. Он аптекарь. У него нет своих детей, он живет один. В свободные дни он забегает в школу за племянником и забирает его к себе. Они вместе обедают, болтают, пьют кофе, и мальчуган является домой только под вечер. У дяди Рингельхута некому готовить обед, поэтому они с Конрадом едят всегда самые невероятные вещи: ветчину со сбитыми сливками, копченую селедку с медом и даже вишневый пирог с английской горчицей. Английская горчица нравится им больше немецкой, потому что она гораздо острее и так здорово щиплет, что дух захватывает.

Когда, наконец, им становится невтерпеж от такой еды, они высовываются из окна и так хохочут, что соседи только головами покачивают:

— Ну, кажется, аптекарь Рингельхут с племянником совсем с ума спятили.

Ну так вот, дядя с племянником бежали по Глассисштрассе. Наконец, дядя заметил, что Конрад не в духе. Едва только он успел спросить: «Ты чего нос повесил?», как кто-то дернул его за пиджак. Оба обернулись: перед ними стояла высокая черная лошадь.

Она вежливо попросила:

— Не найдется ли у вас, случайно, кусочка сахару?

Дядя с племянником отрицательно покачали головами.

— Ну, простите за беспокойство, — извинилась лошадь и приподняла свою соломенную шляпу.

Дяде Рингельхуту стало неловко:

— Может быть, хотите папиросу?

— Нет, спасибо, — вздохнула лошадь, — я не курю.

Она церемонно поклонилась, побежала рысцой к Альбертплацу и остановилась с унылым видом перед витриной гастрономического магазина.

«А надо бы эту конягу накормить, — подумал дядя, — она, видно, здорово проголодалась».

Потом он искоса взглянул на племянника и сказал:

— Что с тобой, Конрад? Ты что, оглох или ослеп?

— Мне задано сочинение о Южном океане... — мрачно произнес Конрад.

— О Южном океане! — воскликнул дядя. — Да, это скверная штука.

— Это ужасно, — сказал Конрад. — Всем, кто силен в математике, задано о Южном океане. Это нарочно так подстроили! Знают, что у нас никакого воображения. Остальные должны описать, как строится четырехэтажный дом. Это в тысячу раз легче, чем выдумывать про Южный океан!

— У тебя-то, брат, действительно нет никакого воображения,—сказал дядя Рингельхут.—Но ты забыл, что у тебя есть дядя. Мы состряпаем такой Южный океан, что учитель рот разинет.

Придя домой, они сразу накинулись на еду. Аптекарь достал соленую рыбу с мармеладным гарниром, а затем мясной салат с малиновым вареньем.

— Спартанцы ели, не моргнув глазом, даже кровяной суп, — уверял дядя. — Ну, как тебе нравится обед?

— Очень хорошо, удивительная гадость, — сказал Конрад.

— Ну, ну, надо закаляться. Бывало, солдатом, я ел лапшу с селедкой, в студенческие годы — рисовую кашу с сахарином. Кто знает, что ожидает тебя впереди? Так что ешь, брат, пока желудок не станет луженым!

И он положил к рыбе еще немного мармелада.

Поев, они испугались, что им станет плохо, и высунулись из окна подышать свежим воздухом. Но ничего плохого не произошло.

Тогда дядя подсадил племянника на громадный книжный шкаф, и Конрад сделал там стойку на руках.

— Постой-ка так минутку, — сказал Рингельхут, — я сейчас.

Он приволок из спальни перину и разостлал ее перед шкафом. Потом скомандовал:

— Гоп-ля!

Конрад спрыгнул со шкафа на перину.

— Браво! — закричал дядя, разбежался, перемахнул через стол, грохнулся об пол, и тут же они услышали внизу глухой стук.

— Это люстра Мюльбергов,—сказал дядя.

С минуту все было тихо.

— Должно быть, Мюльбергов дома нет,— заметил Конрад.

Тут кто-то позвонил. Мальчик побежал отпереть дверь и сейчас же влетел обратно.

— Там... эта черная лошадь, — прошептал он.

— Давай ее сюда! — крикнул дядя Рингельхут, и племянник впустил странную гостью.

Лошадь сняла соломенную шляпу и спросила:

— Разрешите?

— Конечно! — воскликнул дядя. — Садитесь, пожалуйста.

— Нет, я лучше постою, — сказала лошадь. — Не думайте, что я плохо воспитана, но мы, лошади, как-то не приспособлены для сидения.

— Как вам угодно, — сказал дядя. — Позвольте, однако, спросить, чему мы обязаны честью вашего визита?

Лошадь застенчиво посмотрела на обоих своими серьезными глазами.

— Вы оба мне сразу понравились, — сказала она.

— И вы нам тоже, — ответил Конрад. — Хотите сахару?

Не дожидаясь ответа, он выскочил в кухню, принес сахарницу, положил с полфунта сахару на ладонь, и лошадь, шлепнув губой, слизнула его без лишних разговоров. Затем она облегченно вздохнула:

— Эх, чорт возьми, это был миг блаженства. Большое спасибо, друзья мои. Позвольте представиться. Меня зовут Негро Кабалло. Я выступала в цирке Саразани. Мой номер — роликовые коньки. Но недавно меня сократили, и я осталась без работы.

— Да, да, — сказал дядя Рингельхут, — я вижу, что у нас с лошадьми так же мало церемонятся, как и с людьми.

— А все эти проклятые автомобили!— с негодованием воскликнула Негро Кабалло. — Машины нас окончательно губят. Вы только подумайте, я готова была пойти хоть в извозчичьи лошади, а ведь я, как никак, лошадь с гимназическим образованием. Но даже председатель союза извозчичьих лошадей не смог меня устроить. А эта лошадь пользуется большим государственным влиянием! Впрочем, сама-то она, небось, ездит на собственном автомобиле!

— Да, уж если так, то действительно ваше дело дрянь, — сказал дядя Рингельхут, покачав головой.

— Какой вы милый, — растроганно сказала лошадь и так хлопнула его левой передней ногой по плечу, что оно затрещало.

— Ай! Ай! — взвыл Рингельхут.

Конрад погрозил лошади пальцем.

— Если вы мне угробите дядю, — сказал он, — вам придется иметь дело со мной!

Верхняя губа лошади поднялась так, что стали видны все ее огромные белые зубы, и она беззвучно рассмеялась. Потом, спохватившись, стала извиняться.

— Ничего, уже почти прошло, — сказал дядя Рингельхут, потирая ушибленное место. — Но в следующий раз, пожалуйста, будьте осторожней, дражайшая Негро Кабалло. Я ведь не лошадиной породы.

— Этого больше не повторится, — обе-

щала лошадь и, чтобы замять неловкость, сказала: — Да, вы знаете, я была лучшим бегуном на роликовых коньках из всех млекопитающих.

Разговаривая таким образом, все трое высунулись из окна. Но едва только лошадь посмотрела вниз, у нее закружилась голова, она побледнела от страха и опустила веки. И только после того, как Конрад пристыдил ее, она медленно открыла глаза.

— Смотрите, не вывалитесь,— предупредил ее дядя Рингельхут. — Этого еще не доставало, чтобы из моего окна вываливались на улицу лошади.

Негро Кабалло смущенно оправдывалась:

— Знаете, нашему брату редко случается смотреть на улицу с третьего этажа. Теперь мне уже гораздо лучше. Но все же пустили бы вы меня в середку. Это будет как-то надежнее.

Лошадь встала между дядей и Конрадом, высунула голову далеко из окна и сожрала две фуксии и одну бегонию с балкона соседей. Цветочные же горшки она оставила нетронутыми только из приличия.

Внезапно на улице раздался страшный крик. Под окном стоял маленький круглый человечек. Он размахивал руками, топал жирными ножками и орал как ошпаренный.

— Что за безобразие! — визжал он. — Немедленно уберите лошадь из окна. Вы что, до сих пор не знаете правил? Не знаете, что вводить лошадей в квартиры строго воспрещается?

— Это еще кто? — спросил Конрад.

— Мой домохозяин,—ответил дядя Рингельхут. — Его зовут Клеменц Ваффельбрух.

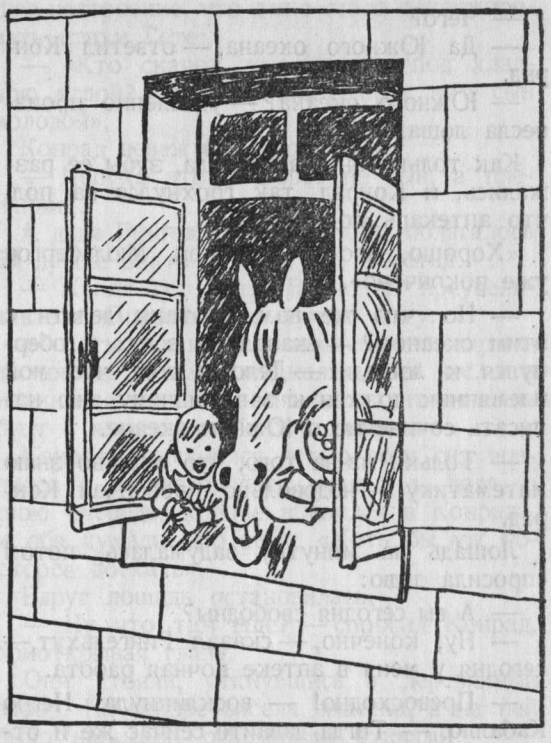
— Вы мне еще за это ответите, — продолжал кричать толстяк, — вы еще уплатите Леманну за цветы, которые эта кляча нахально сожрала с его балкона. Понятно?

Дрожь пробежала по черной шкуре лошади... Кляча! Ну, ну, безнаказанно оскорблять себя она не позволит! Она схватила с балкона один из цветочных горшков и бросила его прямо вниз. Горшок угодил прямо на котелок разгневанного домохозяина. У господина Клеменца Ваффельбруха подогнулись колени. Он растерянно взглянул наверх и произнес с дрожью в голосе:

— Ах, так!

С этими словами он скрылся в под'езде.

— Ну, этот скандалист вовремя убрался, — сказала лошадь, — нето я перешвыряла бы ему на голову по кусочкам весь балкон.



—...нашему брату редко случается смотреть на улицу с третьего этажа.

— Это, пожалуй, обошлось бы мне слишком дорого,—заметил дядя Рингельхут, — пойдемте-ка лучше в комнату!

Негро Кабалло весело заржала.

Они уселись за стол и стали непринужденно болтать.

Вдруг Конрад вскочил, подбежал к книжному шкафу, рванул дверцу, схватил толстую книгу с верхней полки, сел на ковер и стал взволнованно перелистывать страницы.

— Какая тебя муха укусила? — обернулся к нему дядя.

Конрад сидел на ковре, перелистывал книгу и молчал. Тогда Рингельхут обратился к лошади:

— Не можете ли вы своим копытом привести в чувство этого суб'екта?

Лошадь подбежала к Конраду, схватила его зубами за шиворот и подняла его чуть ли не к потолку. Но Конрад ничего не замечал. Вися в воздухе он попрежнему внимательно перелистывал книгу.

— Никак не найду, дядя, — сказал он наконец.

— Чего?

— Да Южного океана, — ответил Конрад.

— Южного океана? — удивленно произнесла лошадь.

Как только она заговорила, зубы ее разжались, и Конрад так грохнулся на пол, что аптекарь подумал:

«Хорошо, что с люстрой Мюльбергов уже покончено».

— Но что же нам все-таки делать с этим океаном? — сказал он вслух и обернулся к лошади: — Дело в том, что мой племянник должен к завтрашнему дню написать сочинение о Южном океане.

— Только из-за того, что хорошо знаю математику, — недовольно проворчал Конрад.

Лошадь на минутку задумалась, потом спросила дядю:

— А вы сегодня свободны?

— Ну, конечно, — сказал Рингельхут,— сегодня у меня в аптеке ночная работа.

— Превосходно! — воскликнула Негро Кабалло. — Тогда давайте сейчас же и отправимся.

— В аптеку? — в один голос спросили дядя и племянник.

— В какую там аптеку, — ответила лошадь, — на Южный океан, разумеется.

Она подбежала рысцой к телефону, сняла трубку, назвала номер и сказала:

— Алло! Бюро путешествий для цирковых лошадей? Мне нужно лично переговорить с Великаншей. Ах, это вы? Ну, как дела? Грива седеет? Да, да, годы уходят. Вот что: скажите-ка, как мне кратчайшим путем попасть на Южный океан? Я хочу вернуться к вечеру. Бросьте, Великанша, не рассказывайте мне сказок. Где я сейчас? Иоганн-Мейерштрассе, 13, у аптекаря Рингельхута. Что? Ого, вот это здорово! Ну, большое спасибо, дорогая!

Лошадь трижды заржала на прощание, положила трубку, повернулась и спросила:

— Господин Рингельхут, не стоит ли у вас в коридоре большой резной шкаф? Старинный шкаф 15-го столетия?

— А хоть бы и так? — сказал Рингельхут. — Что общего между этим шкафом и Южным океаном?

— А вот что. Нужно залезть в этот шкаф и оттуда все время идти прямиком. Максимум через два часа мы будем на Южном океане.

— Не морочьте, пожалуйста, мне голову, — взмолился дядя Рингельхут.

Но Конрад уже вылетел в коридор, распахнул скрипучие дверки стоявшего там большого старинного шкафа, влез в него... и... был таков.

— Конрад! — закричал дядя. — Конрад! Ах ты, дрянной мальчишка!

Но дрянной мальчишка не отзывался.

— С ума можно сойти, — проворчал дядя. — Почему этот олух не отвечает?

— Он, наверное уже в дороге, — сказала лошадь.

Тогда дядя не выдержал. Он бросился к шкафу, заглянул в него и воскликнул:

— Что за дьявол! Куда же девалась задняя стенка?

Лошадь сказала с укоризной:

— И не к чему было сомневаться. Влезайте же туда скорей!

— Нет уж сперва вы, — предложил аптекарь. — Вы ведь гостья.

Лошадь просунула передние копыта в шкаф. Дядя Рингельхут принялся изо всех сил проталкивать ее. Наконец, она скрылась в шкафу. Тогда дядя, кряхтя и охая, полез за ней.

— И чем все это кончится... — недовольно пробормотал он.

Страна лентяев

В шкафу дядя Рингельхут обо что-то споткнулся. Оказалось, что это была старая трость. Он захватил ее с собой. «Южный океан далеко, — подумал Рингельхут, — мало ли что может случиться?..» Сломя голову он кинулся в темноту. Он бежал по какой-то призрачной дороге, каким-то коридором, среди высоких мрачных стен. Вдруг стены расступились и дядя очутился в лесу.

Но что это был за лес! Вместо деревьев там были колокольчики, ирисы, розы, громадные как столетние дубы. Они сверкали на солнце всеми цветами радуги и мелодично позванивали, раскачиваясь под легким ветерком.

Дядя Рингельхут метался среди этих гигантских цветов и кричал:

— Ау! Конра-ад! Ау-у-у! Где ты?

Наконец, он догнал обоих.

Дядя вскарабкался на спину Негро Кабалло, вцепился руками в Конрада и они поехали.

Негро Кабалло стояла перед огромной фиалкой и обгладывала ее листья. А Конрад сидел верхом на лошади и грыз свои ногти, ожидая пока она наестся.

— С ума можно сойти! — воскликнул дядя и вытер со лба пот носовым платком. — Просто с ума можно сойти!

Ему никто не ответил.

— С ума можно сойти! — упрямо повторил он. — Бросили меня, удрали неизвестно куда и, наконец, затащили в какой-то, ни на что не похожий лес.

— А что, теперь уж недалеко до Южного океана? — спросил Конрад.

— Вынь палец из рта, когда разговариваешь со взрослыми! — прикрикнул на него дядя.

Конрад вытер палец о штаны и стал внимательно рассматривать его, точно увидал в первый раз в жизни.

— Не стесняйтесь, садитесь на меня, — пригласила лошадь. — Сейчас поедем, только вот дожую этот листок.

Дядя вскарабкался на спину Негро Кабалло, вцепился руками в Конрада, и они поехали.

Наевшись, лошадь пришла в такое хорошее настроение, что даже стала декламировать стихи Гете:

— «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой».

Конрад невежливо перебил ее:

— Чепуха это, я вовсе не сын, а племянник.

А дядя Рингельхут, которому полагалось бы лучше знать литературу, заметил:

— Какая тут мгла? Вечно вы преувеличиваете. Прибавьте-ка лучше шагу.

— Есть, капитан, — насмешливо заржала лошадь и так поскакала через лес, что малиновое варенье и мясной салат подняли бунт в желудках обоих всадников.

Конрад зажмурился и изо всех сил вцепился в развевавшуюся гриву, а дядя, в свою очередь, крепче вцепился в Конрада, и оба думали про себя: «Хоть бы уж поскорее доехать».

Вдруг лошадь остановилась.

— Ну что там еще? — спросил Конрад, приоткрывая глаза.

Они стояли, уткнувшись в деревянный забор. На заборе висела вывеска, а на ней было написано огромными буквами:

«СТРАНА ЛЕНТЯЕВ!
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!
ДЕТЯМ СКИДКА!»

Дядя Рингельхут осторожно слез с лошади, внимательно осмотрел забор, еще раз прочитал вывеску и, наконец, произнес:

— Вот так штука!

— А что? — спросила лошадь.

— Да ведь входа-то нет.

Действительно, в заборе не было никаких признаков калитки.

Конрад встал на спину лошади, ухватился за край забора и хотел подтянуться, но Рингельхут удержал мальчугана за ноги.

— Чудак ты этакий, — сказал он, — неужели ты думаешь, что в эту страну попадают через забор! Ведь там, наверное, живут такие лодыри, каких свет не видал. Что же, они будут через забор лазить?

Но мальчишка крепко вцепился в край забора и стал подтягиваться.

— Я только загляну, — сказал он.

Вдруг, откуда ни возьмись, из-за забора появилась огромная рука и наградила Конрада такой затрещиной, что он покатился на траву, под ноги лошади.

— Что, заработал на орехи? — злорадствовал дядя. — В другой раз не суйся, куда не следует.

Потом, прислонившись к дереву, он сказал громко, чтобы его могли слышать за забором:

— Если эти чудаки воображают, что мы собираемся лезть к ним через забор, то они жестоко ошибаются.

Потом он громко зевнул и продолжал ворчливым тоном:

— Не поспать ли нам здесь немножко.

Едва он успел произнести эти слова, как в заборе появилась калитка.

— Входите, — услышали они.

Они вошли. Первое, что им бросилось в глаза, была огромная кровать. В кровати лежал толстяк и ворчал:

— Шатаются тут бестолку... Ну, чего вам надо?

— Мы едем к Южному океану, — ответил дядя.

— Все время прямиком, — сказал толстяк, повернулся на другой бок и захрапел «во всю ивановскую».

— Вы долго еще будете храпеть? — спросил его Рингельхут.

Но толстяк или крепко спал или просто поленился ответить.

Конрад огляделся. Они находились в фруктовом саду.

— Посмотри-ка, дядя! — воскликнул он. — Здесь на одном дереве и вишни, и яблоки, и груши, и сливы!

Конрад облазил и оглядел со всех сторон диковинное дерево. Потом он подозвал дядю и лошадь. К дереву был пристроен автомат с ручками и надписями:

«ПОТЯНУТЬ ЛЕВУЮ РУЧКУ ОДИН РАЗ — ОЧИЩЕННОЕ И НАРЕЗАННОЕ ЯБЛОКО».

«ПОТЯНУТЬ ЛЕВУЮ РУЧКУ ДВА РАЗА — КОМПОТ».

«ПОТЯНУТЬ ПРАВУЮ РУЧКУ ОДИН РАЗ — ВИШНЕВЫЙ ПИРОГ СО СБИТЫМИ СЛИВКАМИ».

— Вот это здорово! — сказал дядя и потянул два раза правую ручку. Раздался звонок, и с дерева спустилась тарелка с вишневым мармеладом. Тогда все трое принялись обрабатывать деревья. Самой прожорливой оказалась коняга.

Она дочиста об'ела два дерева и все еще не могла успокоиться.

Дядя Рингельхут стал ее торопить. Но лошадь отмахнулась от него хвостом:

— Идите, идите, я вас догоню!

И дядя с Конрадом отправились вдвоем в глубь «страны лентяев».

Вдруг они услышали кудахтанье. Дорогу перебегали куры. Они волокли за собой маленькие чистые сковородки.

Как только куры заметили людей, они сразу остановились, расправив крылья, уселись на сковородки. Вместо яиц под ними оказались готовые яичницы с ветчиной.

Конрад зашикал на них и замахал руками: он был сыт по горло. Куры шарахнулись в кустарник, утащив за собой сковородки.

— А что же тут не видно людей? — сказал мальчуган. — Неужели их здесь вовсе нет?

— Ну, хоть немного, да, наверное, есть, — возразил дядя Рингельхут, — иначе для кого же эти автоматические деревья!

Дядя оказался прав. Вскоре за поворотом дороги они увидели дома. Дома эти стояли на колесах, и управлять ими можно было не вставая с постели. Кроме того на окнах спален были пристроены громкоговорители, и, когда два лодыря хотели побеседовать, они с'езжались и разговаривали, не видя друг друга, прямо через громкоговорители.

Дядя и племянник подкрались на цыпочках к двум таким домам, стоящим рядом, и услышали из громкоговорителей заспанные голоса.

— Дорогой президент, — говорил один громкоговоритель, — не скажете ли мне, какая, собственно говоря, у нас сегодня погода?

— Представления не имею, — ответил другой громкоговоритель. — Вот уже десять дней, как я не вставал с постели.

— Ну, — недовольно проворчал первый, — в окно-то вы могли бы все-таки выглянуть, если уж взялись быть у нас президентом.

— Отчего же вы сами не выглянете, дорогой Ганнеман?

— Я с третьего дня лежу лицом к стене, и мне, право, лень поворачиваться.

— Ну вот и мне тоже, дорогой Ганнеман!

— Гм, господин президент, в самом деле, не отказаться ли нам вообще от издания бюллетеня погоды?

— Мне тоже так кажется. До свидания, дорогой, спите спокойно!

— Желаю и вам того же, господин президент. Всего, всего!

Оба громкоговорителя зевнули, и дома снова от'ехали друг от друга.

— Давай-ка посмотрим, что это за президент такой, — предложил аптекарь, и они пошли за медленно катившимся президентским дворцом.

Дом доехал до фруктового сада и оста-

новился близ автоматических деревьев. Путники с любопытством заглянули в окно.

— Ух ты, какой жирный парень, — прошептал дядя.

— Вот так штука! — воскликнул Конрад. — Да ведь это наш толстяк Зейдельбаст!

— Ты знаешь президента этой страны?

— Так ведь Зейдельбаст учился в нашей школе. Он одиннадцать раз оставался на второй год. Такой это был удивительный лентяй. В третьем классе он женился и уехал из города. Говорили, что он хотел заняться сельским хозяйством. А, оказывается, вот он где! А мы-то и не знали, что он стал такой важной шишкой!

Затем Конрад постучал в окно и крикнул:

— Эй, Зейдельбаст!

Президент, раздутый как воздушный шар, с досадой перевалился на другой бок и недовольно проворчал:

— Ну, что там еще?

— Что же, ты не узнаешь старых товарищей? — сказал мальчуган.

Зейдельбаст открыл щелки глаз, едва заметные на заплывшем лице, медленно улыбнулся и произнес:

— Это ты, Конрад? Как ты сюда попал?

Рингельхут приподнял шляпу и сказал, что он дядя Конрада и что они здесь только проездом по дороге к Южному океану.

— Я провожу вас до границы, — сказал Зейдельбаст, — вот только поем сперва немножко. Одну минуту, друзья мои.

Он запустил руку в ночной столик и вынул коробку с таблетками.

— Сперва чего-нибудь легонького на закуску, — вздохнул он, положил в рот белую пилюлю и нажал кнопку. На противоположной стене сейчас же появилась цветная картина, изображавшая сардины в масле, крутые яйца и студень.

— Теперь жареного гуся с хрустящей корочкой, — сказал, облизываясь, президент; он проглотил розовую пилюлю и снова нажал кнопку.

На стене появился жирный жареный гусь с печеными яблоками и салатом из огурцов.

— А на десерт фрукты в мороженом, — мечтательно продолжал Зейдельбаст, вынул из коробочки желтую пилюлю и в третий раз нажал одну из кнопок. На стене появился большой бокал с мороженым и персиками.

У Конрада слюнки потекли.

— Почему вы питаетесь пилюлями? — спросил дядя. Как аптекаря, это его, конечно, особенно заинтересовало.

— Иначе еда была бы слишком тяжела, — об'яснил президент. — А ввиде таблеток да еще с помощью картин она так же вкусна и вызывает гораздо меньше хлопот.

Пока оба путешественника удивлялись такому способу еды, Зейдельбаст, кряхтя, вылез из кровати. Он был в одних трусиках. Все же остальные части костюма были просто нарисованы на его теле: рубашка, воротничок, галстук, куртка, штаны, чулки и ботинки.

— Что, хорошо? — спросил он. — Это — мое изобретение! Вечная одежда! Ни одевать, ни снимать, ни стирать не надо!

Переваливаясь с боку на бок, президент стал подвигаться к двери. Вздыхал, кряхтел, стонал и, наконец, вывалился из дому на траву.

Он приветливо потрепал по плечу прежнего школьного товарища и пожал руку дяде Рингельхуту.

— Я не могу отпустить вас в дальний путь, не показав нашей опытной станции, — произнес Зейдельбаст тоном радушного хозяина и медленно повел их по полю.

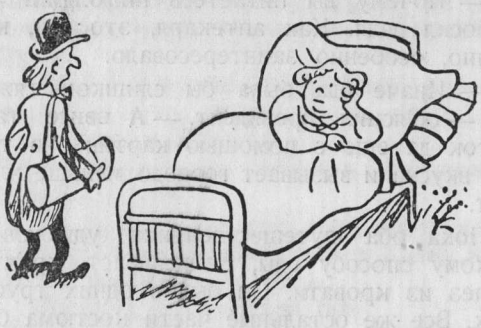
Небо заволокло тучами. Надо было ждать дождя.

— Уж лучше бы мне было взять зонтик вместо палки, — заметил дядя.

— Не огорчайтесь, — успокоил его Зейдельбаст.—Вы еще не знаете, какие сюрпризы вас тут ожидают.

И что же? При первых каплях дождя на лугу выросла дюжина высоких зонтиков на тонких стеблях. Под ними можно

В самом деле, перед одной из кроватей стоял двухголовый пестрый теленок.



— Марш, марш назад! — скомандовала женщина.

было переждать дождь или, сорвав зонтик, под его защитой продолжать путь. Все трое так и сделали: сорвали себе по зонту и пошли дальше.

— Не бойтесь, они сами завянут, как только кончится дождь, — успокаивал Зейдельбаст своих спутников, полагая, что они боятся лишней ноши.

И в самом деле, как только дождь перестал, зонтики сморщились как увядшие цветы. Президент бросил свой зонт в канаву, и гости последовали его примеру.

— Организованная мною опытная станция, — говорил Зейдельбаст, — предоставляет людям с живым характером и пылкой фантазией интересные и неутомительные развлечения. Но вот и станция! Милости просим, входите!

Они очутились на лужайке. Повсюду стояли кровати, а в кроватях лежали и жмурились толстяки.

— Стоит здесь что-нибудь себе представить, как задуманное появляется в действительности! — произнес Зейдельбаст. — Стоит только сказать: «Марш-марш назад!» — и все исчезает. Да вы сами увидите, как это интересно!

— Ну это враки, — заявил Конрад, — ты нас дурачишь, Зейдельбаст!

— Вот так штука! — перебил его дядя. — Посмотрите-ка! Теленок с двумя головами!

В самом деле, перед одной из кроватей стоял двухголовый пестрый теленок. Он выпучил все свои четыре глаза на толстяка, который его себе представил. А тот, глядя на теленка, глупо хихикал в подушку. Наконец, он поднял голову и крикнул:

— Марш-марш назад!

Теленок исчез.

Все трое пошли дальше и увидели лежащую на кровати толстую даму. От усиленных размышлений ее лоб был весь в морщинах. Внезапно перед ней очутился какой-то старик с ботанической коробкой через плечо.

— Марш-марш назад! — с досадой проворчала она, и тот пропал.

Тогда она еще больше наморщила лоб и перед ее постелью снова возник старик с ботанической коробкой. Он был похож на первого. Только у него было меньше зубов и почти до плеч спадали длинные седые вьющиеся волосы.

— Марш-марш назад! — скомандовала женщина, и он тоже исчез.

Потом перед ней появился третий старик, похожий на первых двух. Но у него был гораздо длиннее нос, и он был лысым.

— Марш-марш назад! — сердито закричала дама и устало закрыла глаза.

— Что это вы делаете, госпожа Брюкнер? — спросил Зейдельбаст.

— Ах, господин президент, — ответила толстуха. — Я хочу увидеть своего дедушку, но никак не могу его себе представить. Я совсем забыла, как он выглядел!

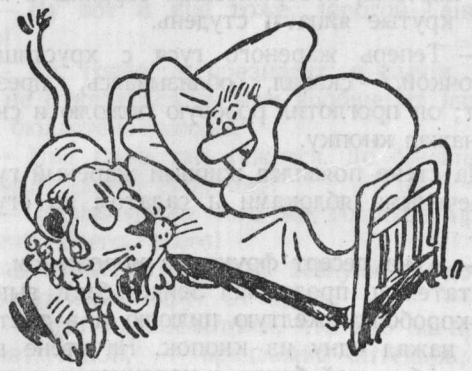
— Не волнуйтесь, вам это вредно, — предупредил Зейдельбаст. — Вы и так уже много потеряли в весе. Вы весите теперь только 200 кило! Мне очень жаль, но вас надо было бы выслать из нашей страны. Ведь вы знаете наш порядок: те, кто весит менее 250 кило, немедленно подлежат высылке.

— Вот уж восемь дней, как я все пробую представить себе дедушку, — проговорила сквозь слезы женщина, — и каждый раз неудача. Спокойной ночи, Зейдельбаст.

И она мгновенно заснула. Уж очень она устала от своих трудов.

— Лев, — закричал вдруг Конрад. — Смотрите! Смотрите! Лев!

Перед одной из кроватей стоял большой



Перед одной из кроватей стоял большой лев...

лев с лохматой гривой и вовсю разевал громадную пасть с острыми клыками.

— Ну, конечно, это опять жирный Боргмейер, — рассердился Зейдельбаст. — Всегда он представляет себе диких зверей. Это плохо кончится.

Огромный лев подкрался ближе к кровати, выгнул дугой спину и страшно зарычал. Толстый Боргмейер побледнел.

— Назад! — закричал он. — Назад ты, грязная скотина, убирайся прочь!

Но лев подползал все ближе и ближе. Вот он уже царапает когтями перину.

— Сгинь... пропади, убирайся... — весь дрожа, бормотал Боргмейер.

— Вот видите, — сказал Зейдельбаст,— он со страха забыл даже, что надо просто крикнуть: «Марш-марш назад!» Как бы лев его не слопал, если он вовремя не вспомнит этих слов.

— А ну-ка, я попробую крикнуть это вместо него, — предложил Конрад.

Он готов уж был броситься на помощь Боргмейеру, но дядя Рингельхут схватил его за рукав.

— Будешь ты стоять на месте или нет!—прикрикнул аптекарь. — Твои родители мне голову оторвут, если тебя здесь растерзает воображаемый лев!

Зейдельбаст тоже советовал не вмешиваться в эту историю.

— Это совершенно бесцельно, — об'яснил он: Боргмейер должен сам крикнуть эти слова, иначе они не подействуют.

Между тем лев вспрыгнул на кровать и принялся мять передними лапами круглый живот господина Боргмейера, предвкушая удовольствие: в его воображаемой жизни никогда не было такого жирного завтрака.

Он разинул пасть и...

— Марш-марш назад! — вдруг заорал во все горло Боргмейер прямо в страшную пасть зверя.

Лев мигом исчез.

— Вы совсем спятили с ума! — сказал Зейдельбаст толстяку. — Если бы мне было не лень, я, право, рассердился бы на вас.

— Я больше не буду, никогда не буду...— хныкал дрожащий Боргмейер.

— В наказание запрещаю вам две недели посещать опытную станцию, — строго произнес президент и пошел дальше со своими гостями.

Внезапно дядя Рингельхут почувствовал, что становится все меньше и меньше.

— С ума можно сойти!—завопил он.— Что это со мной?

Глядя на него, Конрад хохотал и подпрыгивал от удовольствия. Зейдельбаст тоже рассмеялся, но потихоньку, чтобы не слишком утомиться.

А дядя Рингельхут стал уже ростом с Конрада, потом с трость и, наконец, так уменьшился, что выглядел не больше карандаша.

Конрад нагнулся, поставил своего крохотного дядю на ладонь и сказал:

— Видишь ли, я представил себе, что ты такой маленький, как на той карточке, что стоит у нас на столе.

— Что за шутки! — рассердился дядя. — Сейчас же крикни: «Марш-марш назад!»

Он замахнулся ручонкой, точно хотел дать племяннику тумака.

Зейдельбаст хохотал до слез.

— Ну, и сердитый же ты, крошка, — сказал Конрад и засунул бедного аптекаря в верхний карман куртки.

Рингельхут старался выбраться оттуда, размахивал ручонками и пищал, пока совсем не охрип.

В это время к ним рысью подбежала Негро Кабалло, и Конрад представил ее президенту.

— Очень приятно, — сказали оба.

Лошадь хвалила «страну лентяев» за прекрасный клевер. Эта страна безработной цирковой коняге казалась раем земным. Высказав свое восхищение, она оглянулась и удивленно спросила:

— А где же наш аптекарь?

Конрад молча показал на свой карман. У лошади от изумления чуть было не свалилась с головы соломенная шляпа. Тогда мальчуган рассказал, как дядя стал лилипутом, как они испугались льва и как толстуха Брюкнер представляла себе умершего дедушку.

— Ого, — сказала лошадь, — эту штуку и я, пожалуй, попробую. Пусть у меня на ногах будут роликовые коньки!

Не успела она договорить, как на копытах у нее оказались две пары роликовых коньков, хорошо прилаженных и пристегнутых.

Негро Кабалло ужасно обрадовалась и сейчас же ловко описала две дуги задом наперед, затем большую восьмерку и в заключение сделала пируэт на правой задней ноге. Это было замечательное зрелище! Зейдельбаст заявил, что если бы он не был так ленив, то обязательно захлопал бы в ладоши.

Лошадь сделала реверанс и поблагодарила за лестную оценку своих талантов.

— Дорогой мой, милый мой Конрадхен,— умоляюще пропищал дядя, — вытащи меня, пожалуйста, из кармана.

— Дорогой мой, милый мой дядюшка,— передразнил его племянник,—мне что-то не хочется.

— Нет?

— Нет!

— Ну так хорошо же, — угрожающе произнес Рингельхут. — У тебя на голове сейчас же появится водянка, волосы станут зеленые, нос превратится в пуговицу, а вместо пальцев будут вареные сосиски!

Так и произошло... На голове у Конрада появилась огромная отвратительная опухоль, поросшая ярко зелеными волосами; вместо носа оказалась большая пуговица от пальто, а на руках болталось десять вареных сосисок.

— Вот так чучело! — заржала лошадь, а Зейдельбаст поднес мальчугану зеркало, чтобы тот мог полюбоваться на себя.

Дядя Рингельхут высунулся из кармана и с злорадством стал разглядывать плод своего воображения. Он так хохотал, что чуть было не вывалился на землю.

Теперь уже настала очередь Конрада плакать.

— Неужели оба вы не могли придумать чего-нибудь покрасивее? — проворчал Зейдельбаст. — Ну, а теперь, пожалуйста, кончайте эту игру. Подурачились и довольно.

Дядя пропищал из кармана «Марш-марш назад», и племянник принял свой обычный вид.

Затем Конрад посадил аптекаря в траву и, утерев слезы, нехотя буркнул:

— Марш-марш назад!..

В один миг Рингельхут стал таким же, как прежде. Он одернул на себе пиджак и поправил галстук.

— Жаль, что я не успел вас сфотографировать, — сказал Зейдельбаст, — уж очень вы оба были хороши!

— Ну что же, давайте собираться, — сказала лошадь и нетерпеливо скребнула роликами по земле.

Они тронулись в путь. Зейдельбаст проводил их до границы.

— Скажите, много у вас в стране свободного места? — спросил на прощанье Рингельхут.

— А что?

— Да вот, в нашей стране много безработных, которым есть нечего, — сказал аптекарь.

— Нет уж от этого вы нас, пожалуйста, избавьте! — взмолился Зейдельбаст,— ваши парни захотят работать, а этого у нас не полагается.

Во дворе стоял старый седобородый рыцарь:

— Жаль, жаль, — сказала лошадь, и они попрощались.

Дядя с Конрадом уселись на свою роликовую лошадку.

Зейдельбаст, чтобы не утомить себя, кивал им одним мизинцем и крикнул на прощанье:

— Помните же, все время прямиком!

Вскоре они увидели огромный средневековый замок. Как и полагается каждому порядочному замку, он был окружен глубоким и широким рвом с водой. Под'емный мост был поднят. На стенах замка было бесчисленное количество зубцов с бойницами и башни, на которых развевались флаги.

— Когда я был еще мальчишкой, у меня была точно такая штука, — сказал дядя Рингельхут. — Правда, мой замок весь помещался на столе, зато у него в окнах была красная глянцевая бумага. Ну, а как же нам туда пробраться?

— Надо позвонить, — предложил Конрад.

Лошадь подняла его насмех: разве у средневековых замков бывают звонки!

После долгих поисков они нашли у рва маленькую вывеску. На ней было написано:

«Замок великого прошлого.
Мост опускается после троекратного трубного звука»

— Откуда же нам взять этот троекратный трубный звук? — огорченно сказал дядя. — И зачем только люди так любят формальности.

— Попробовать разве на гребешке? — спросил Конрад и живо вытащил из кармана свой гребешок.

— Погоди! — воскликнул Рингельхут. Он сложил ладони рупором, приложил их к губам и протрубил:

— Тру-ту-ту-ту-ту! Тру-ту-ту-ту-ту! Тру-ту-ту-ту-ту!

Хотя он был только аптекарем, но трубил совсем неплохо.

Под'емный мост загромыхал и лег через ров. Лошадь быстро вкатилась со своими седоками в ворота замка.

Во дворе стоял старый седобородый рыцарь в золотой броне, опираясь на огромный заржавленный меч.

Он важно вопросил наших путников:

— Откуда вы прибыли, о чужеземцы?

Рингельхут сделал своей тростью «на караул» и сообщил, что они приехали прямо из «страны лентяев».

— А куда же, — спросил бородач, — вы держите путь свой?

— К Южному океану, — сказал Конрад.

— Проезд вам разрешается, — сказал, подумав, раззолоченный старец. — Только сообщите мне свои имена.

Дядя Рингельхут назвал себя и своих спутников.

— А я, — сказал старик, — вероятно, известный вам по истории император Карл Великий.

— Мое почтение, — сказал дядя. — А теперь поменьше лишних слов, дорогой Карл Великий, и скажите нам просто, как нам дальше ехать?

Император погладил свою длинную бороду и недовольно проворчал:

— Поезжайте все время прямо.

Вход на свой риск

Они ехали по белым холмам дюн.

Песок набился в ролики, они невыносимо визжали. Дядя зажал уши.

— С ума можно сойти! — кричал Конрад, передразнивая дядю.

Но тот ничего не слышал.

Наконец, они добрались до моря. Оно было яркосинее и казалось беспредельным.

Друзья в раздумье остановились на берегу. Лошадь не умела плавать и неуверенно предложила вернуться домой. Но дядя с племянником и слышать об этом не хотели.

— Морей без лодок не бывает, — уверял Рингельхут, — надо только поискать.

И Негро Кабалло заскрежетала на своих роликах по морскому берегу.

Лодки они не нашли, но вскоре увидели поразительную вещь: от берега уходила в море стальная полоса метра в два шириной. Она была похожа на дорожку лунного света в воде и скрывалась где-то за горизонтом.

На стальной дорожке, неподалеку от берега, виднелась фигура женщины. Она скребла дорожку щеткой.

— Что это вы там делаете? — крикнул ей дядя.

— Чищу экватор, — отозвалась она.

— Как! — воскликнул Конрад. — Это и есть экватор?

— А зачем вы его чистите? — спросила лошадь.

— У нас тут три дня подряд бушевал шторм, — ответила уборщица. — Волны хлестали через экватор, и он заржавел. Вот я и чищу его. Если ржавчина раз'ест экватор, он может лопнуть, и тогда земной шар разлетится на куски.

— Так вам лучше всего покрасить этот экватор масляной краской, — посоветовала лошадь, — тогда уж он не заржавеет.

— Нет, немножко-то все-таки он должен ржаветь, — возразила женщина, — а то я останусь без работы.

— Тогда извините, — смутилась лошадь.

— Ничего, ничего, — ответила уборщица и снова принялась за работу.

Дядя Рингельхут приподнял шляпу, чтобы привлечь внимание уборщицы.

— Если вам нетрудно, скажите, пожалуйста: как скорее всего попасть на Южный океан?

— Пожалуйста, сюда, на экватор, а потом поезжайте прямиком,—крикнула женщина.

— Благодарю вас, — сказал дядя.

— Ну, марш вперед, быстроногий мустанг!—закричал Конрад вне себя от восторга.

У лошади мороз пошел по коже.

— Как? По этой жестянке? — испуганно спросила она. — А если нас захватит шторм? Тут нам сразу будет капут! Знайте, что вы будете отвечать! Ведь с тех пор, как меня уволили, я нигде не застрахована...

— Но, двигайся, двигайся, старая кляча!—закричал дядя, забыв все правила вежливости.

Лошадь с грохотом прыгнула на экватор, ловко миновала уборщицу и покатилась на своих роликах в сторону Южного океана. Экватор колыхался. Берег исчез из виду. Вокруг себя они видели только яркосинее море, а впереди — стальную дорожку.

Порой небольшая волна переплескивала через экватор. Тогда лошадь скользила по мокрой стали, а седоки вскрикивали от страха, и каждый думал про себя:

«Ну пришел нам конец!»

Вдруг они увидели об'явление, на котором было написано: «Просят акул не дразнить»,—тут душа у них совсем ушла в пятки.

В воде кишели стада акул-людоедов. То там, то здесь показывались из воды эти чудовища величиной с подводную лодку. Они высовывали свои свирепые морды и раскрывали челюсти, точно зевая. Они, видимо, были очень голодны.

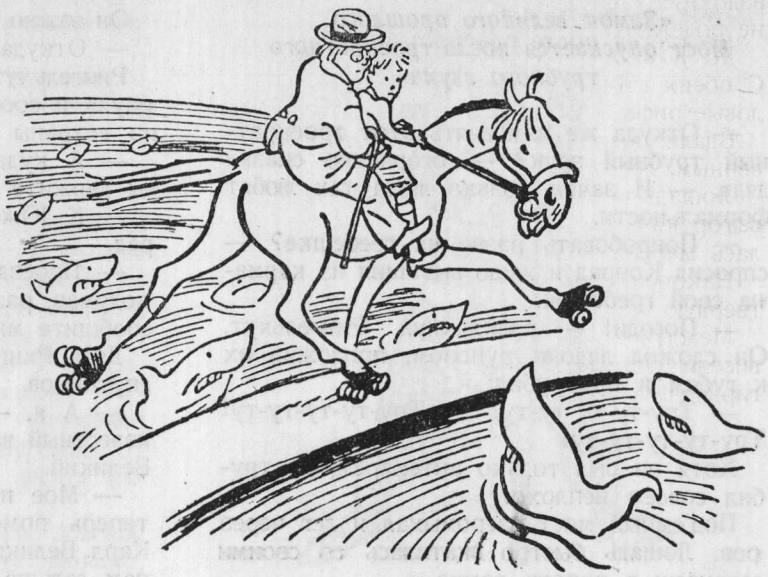
— Не сойдет нам это с рук, — бормотал перепуганный дядя.

— Господин аптекарь, — насмешливо сказала лошадь, сообразив, что главная опасность угрожает не ей, — а рыбки-то, кажется, целятся на ваше брюшко: они чуют, где лакомый кусок!

— Что за наглость! — обиделся за аптекаря Конрад. — У моего дяди нет никакого брюшка. Зарубите это себе на носу!

— Молодчина, — похвалил дядя Рингельхут племянника. — А если вы, — обратился он к Негро Кабалло, — утверждаете, что получили гимназическое образование, то знаете, могли бы...

В это мгновение одна из акул вынырнула из воды, подпрыгнула в воздухе и бросилась на Рингельхута. Но Конрад изо всей силы ударил ее в нижнюю челюсть носком башмака, и акула шлепнулась в море, с расшибленной челюстью.



В воде кишели стада акул-людоедов.

После этого акулы больше не появлялись, и наши путешественники успокоились.

— Если бы ты даже и не был моим племянником, — сказал растроганно дядя, — то ты заслужил право им называться.

— Больно уж вы щедры на похвалы, — с'ехидничала лошадь.

— Нечего смеяться! — закричал дядя.— Мой племянник—способнейший мальчик и вполне заслуживает похвалы!

— По правде сказать, — заметил Конрад, — я предпочел бы получить от тебя одну марку. Я как раз коплю на модель паровой машины.

— Что за жадный мальчишка, — проворчал Рингельхут. — Ведь после моей смерти все тебе останется.

— Тогда уж, пожалуй, ему будет поздно играть с паровой машиной, — подтрунивала лошадь.

Что оставалось делать бедному дяде? Пришлось раскошелиться...

— Авось, еще одна акула нацелится на тебя, — заметил Конрад, — тогда, пожалуй, я еще одну марку заработаю.

Но акул больше не было.

— Какой у тебя скверный характер, —

вздохнул Рингельхут. — Но тут уж ничего не поделаешь. Это у нас в роду...

До Южного океана было уже недалеко. С обеих сторон экватора появились коралловые рифы и острова, поросшие пальмами.

Вдали показался берег, покрытый девственным лесом.

Лошадь понеслась как скорый поезд. Экватор качался, и с Негро Кабалло начиналась морская болезнь.

Наконец, она почувствовала под ногами твердую почву.

Между двумя эвкалиптовыми деревьями висели гирлянды, сплетенные из лиан. На гирляндах висел плакат:

«Южный океан. Западные ворота.
Вход на свой риск.
Претензии не принимаются.
Жалобы не рассматриваются».

Робко проехали они под гирляндами и очутились на прекрасной поляне, усеянной цветами и окруженной пальмами. К ним подбежала горилла, вежливо подала руку, но сейчас же повернулась к пальмам.

В ту же минуту раздался оглушительный концерт.

Завизжали на пальмах обезьяны, затараторили попугаи, держа между пальцами листы нот. Какой-то слон обвил хоботом ствол пальмы и так тряс ее, что сверху с треском сыпались кокосовые орехи.

Горилла размахивала в такт своими длинными руками, дирижируя этой адской музыкой.

Вдруг все смолкло.

Горилла обернулась к путешественникам и улыбнулась.

— Большое спасибо, госпожа обезьяна, — поблагодарил дядя. — Это было очень мило с вашей стороны.

Конрад соскочил на землю, подбежал к горилле и дружески хлопнул ее по волосатому плечу.

— Когда я расскажу об этом Оберлендеру, он лопнет от зависти, честное слово!

— Что за глупости ты говоришь, — перебил его дядя. — Почем эта обезьяна знает, кто такой твой Оберлендер?..

— Ну как же?! Ведь Оберлендер — наш первый ученик! — удивился Конрад.

Но горилла нисколько не заинтересовалась первым учеником. Она бросилась на верхушку пальмы — и только ее и видели.

Остальные обезьяны кинулись за ней.

Слон важно отвесил гостям три поклона и убрался восвояси. Из первобытного леса долго еще доносились хруст и треск деревьев под его ногами.

— Ну, поехали, — сказал, наконец, дядя.

И они отправились в глубь страны, следуя за стаей маленьких пестрых колибри, сверкавших всеми цветами радуги. Птички порхали перед ними, показывая путь.

— Поглядывай по сторонам, паренек, да запоминай, — посоветовала лошадь,—чтобы можно было потом похвастать своим сочинением.

Дядя же предложил еще и записывать:

— Помни о том, что сочинение должно быть готово к завтрашнему дню.

Но Конраду было не до этого. Он с любопытством оглядывался вокруг. Повсюду кипела жизнь. Пышные райские птицы тяжело перелетали с дерева на дерево, потешные маленькие тапиры высовывали из кустов свои длинные мордочки, порхали разноцветные бабочки, величиной с ладонь, ползали жуки, носороги, проносились по воздуху летучие собаки, важно расхаживали золотые павлины, на камнях грелись змеи, похожие на перекрученные пожарные кишки.

Но всего удивительнее было стадо кенгуру, которое расположилось в тени банановогo дерева. Самцы кенгуру играли в карты, самки вязали носки. В их сумках лежали клубки шерсти. Там же была еда и торчали бутылки с молоком для маленьких кенгурят, которые играли тут же, в траве, очищали кожуру с бананов и прыгали через натянутую веревку. Вдруг самки кенгуру похватали своих детенышей, запрятали их в сумки и поскакали. За ними последовали и перепуганные самцы, бросившие свои карты.

— Что за история! — воскликнул дядя. — Скажите, на милость, почему...

Он не договорил и выкатил глаза от ужаса. На поляне появились три громадных тигра.

Тигры расправили усы, выгнули спины, присели и готовы были прыгнуть на него. Тогда дядя Рингельхут вскинул свою трость как ружье, зажмурил левый глаз и прицелился.

Тигры испугались. Самый большой вытащил из кармана белый платок и помахал им.

— Сдаетесь? — закричал Конрад.

Тигры покорно склонили головы.

— Ну, так убирайтесь отсюда, живо!— крикнул дядя.—Или я вас всех перестреляю!

Звери бросились в лес.

— Марш-марш назад! — заржала лошадь.

В то же мгновение она ударилась о землю всеми четырьмя копытами.

Роликовые коньки исчезли.

— Ах, чорт возьми! — воскликнула лошадь. — Куда же девались мои ролики?

Дядя пожал плечами. А Конрад сказал:

— Что у вас память отшибло? Забыли про «страну лентяев»?

— Ах, да! — вспомнила Негро Кабалло. — Ну что же, пожалуй, так и лучше. К чему лошади роликовые коньки? В конце концов это неестественно!

И она пустилась галопом как самая обыкновенная лошадь.

Вскоре после этого они познакомились с маленькой Пеструшкой.

Это случилось так.

Они услышали детский плач. Он доносился из лесу. Дядя с племянником слезли с лошади и осторожно вошли в глубь девственного леса.

Аптекарь, правда, далеко не зашел. Он споткнулся о корень.

— Ой, моя бедная мозоль! — завопил он, сел на землю и стал гладить ногу.

Но он попал из огня да в полымя, усевшись прямо в муравейник. А ведь полинезийские муравьи величиной не меньше майского жука. И их муравьиная кислота жжет почти как соляная.

Конрад тем временем храбро перелезал через стволы упавших деревьев и продирался сквозь вьющиеся растения. Он шел в сторону, откуда доносился плач, и в конце концов очутился под каучуковым деревом. Высоко на суку сидела маленькая девочка, жевала ананас и ревела.

— Что с тобой? — крикнул Конрад.

— Его нет? — спросила девочка.

— Кого это?

— Кита, — закричала она.

— Чего ты так кричишь? — спросил Конрад.

Она слезла с дерева, встала перед Конрадом и крикнула:

— Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Ведь я принцесса. Меня зовут Пеструшкой!

Конрад от изумления рот раскрыл: девочка, которую звали Пеструшкой, была вся в черных и белых квадратиках.

— Да на тебе можно в шахматы играть, — наконец произнес он.

Она оторвала ему кусок ананаса и сказала:

Высоко на суку сидела маленькая девочка, жевала ананас и ревела.

— Мой папа — знаменитый чернокожий вождь на Южном океане, а мама—из Голландии. Она раньше была машинисткой на ферме кокосовых орехов. Вот я и получилась в черную и белую клеточку. А что, это очень некрасиво?

— Не знаю, мне нравится, — засмеялся мальчик и добавил. — А меня зовут Конрадом.

Пеструшка сделала реверанс.

Конрад пожал ей руку и спросил:

— Отчего же ты боишься кита? Ведь кит живет в море!

— Ах, ты ничего не понимаешь! — воскликнула она. — Ведь киты млекопитающие. В воде они живут только по ошибке!

Вдруг в чаще что-то затрещало.

— Это он! — в ужасе закричала Пеструшка и схватила Конрада за руку.

Они стремглав побежали к дороге. Дядя Рингельхут старался от них не отставать.

Лошадь спокойно занималась гимнастикой и очень удивилась, когда увидела испуганных и запыхавшихся беглецов.

— Вас нельзя больше пускать одних в лес, — проворчала она. — Кого это вы притащили?

— За этой девочкой гонится кит, — сказал Конрад. — Он сейчас догонит нас!..

— Вот это мне нравится, — недоверчиво сказала лошадь. — Ведь рыбы живут в воде.

— Так ведь киты вовсе не рыбы! — воскликнул Конрад.

Пеструшка опять заревела. Конрад дал ей за это тумака.

— Почему же он за тобой гонится? — спросил Рингельхут.

— Ах, — всхлипнула она, — я показала ему язык. Вот он и обиделся. Ай! Вот он! Вот он!

Из чащи показалось ужасное чудовище. Пальмы как спички с треском ломались под ним. Оно было похоже на надутый дирижабль и широко раскрывало пасть.

Дядя Рингельхут на всякий случай прицелился палкой и заорал:

— Руки вверх! Стрелять буду!

Но кит не обратил на это никакого внимания. Он подползал все ближе и ближе.

Конрад храбро встал между Пеструшкой и китом.

В это мгновение слабо щелкнули два выстрела. Кит повалился на бок, громко чихнул, повернулся и исчез в чаще.

Дядя Рингельхут вытер пот со лба и с яростью обернулся к племяннику:

— А все из-за твоего дурацкого сочинения! Уж и выругаю я твоего учителя!

Лошадь с трудом перевела дух.

— Но кто же это стрелял? — спросила она. — Слушайте-ка, аптекарь, может быть ваша палка была все-таки заряжена?

— Это я стрелял! — сказал кто-то сзади.

Все обернулись. Перед ними стоял коричневый человек. Все тело его было сплошь татуировано, а вокруг пояса висел фартук из пальмовых листьев.

— Я здешний начальник «Вороний клюв», или иначе «Спешная почта». Здравствуй, Пеструшка!

Он пожал руку девочке, потом и остальным.

— Это становится любопытным, — сказал дядя. — Но чем же вы стреляли, господин «Воробьиный клюв»?

— Не воробьиный, а вороний, — наставительно сказал начальник.

— Пусть так, — согласился дядя. — По мне хоть павлиний. Так чем же это вы

Из чащи показалось ужасное чудовище

стреляли, господин «Вороний клюв»? Уж очень странный звук у вас получился!

— Горячими печеными яблоками, — об'яснил «Вороний клюв».—Я хотел только попугать кита. Рад, что мог оказать вам небольшую услугу.

— Горячими печеными яблоками? — переспросил Конрад.—А где же ваше ружье?

— Никакого ружья у меня нет, — ответил «Вороний клюв».—Я действую перочинным ножом.

— Вот оно что! — сказал Рингельхут.— Во всяком случае большое вам спасибо.

— Ну стоит ли говорить о таких пустяках,—заметил «Вороний клюв». Он покровительственно кивнул им головой и скрылся в лесу.

Пеструшка привела путешественников к своим приятелям — дикарям, жившим на берегу пресноводного озера в хижинах, построенных на высоких сваях.

Туземцы были татуированы и увешаны тяжелыми коралловыми ожерельями. Единственной их одеждой были фартуки.

Лошадь заявила, что это общество ее нисколько не интересует и затрусила рысцой к полю сахарного тростника, виднев-шемуся неподалеку. Она наелась доотвалу и кроме того встретила там маленькую белую лошадку. С ней она быстро подружилась.

Дикари как могли развлекали Рингельхута и его племянника. Они плавали и ныряли, показывая в воде невероятные фокусы.

Потом дядю как почетного гостя обвязали поверх пиджака фартуком из паль-

мовых листьев. Женщины хохотали до упаду, глядя на него.

Молодежь устраивала гонки на выдолбленных лодках, ловила багром форелей и накидывала лассо на птиц.

Вслед за тем был банкет. Меню состояло из самых необыкновенных блюд:

Рагу из комаров.
Плавники акулы в рисовой водке.
Копченые змеиные языки.
Салат из сахарного тростника.

Перед ними стоял коричневый человек

Котлеты из кенгуру.
Пюре из улиток.
Крем из кокосовых орехов.

Вождь племени извинился, что не может угостить своих гостей ничем особенным.

— Конечно, хорошо поджаренная человечина вкуснее змеиных языков, — сказал он извиняющимся тоном, — но, к сожалению, мы как раз вчера докончили последнего пленника. А пока нам удастся поймать парочку из соседнего племени, остальные блюда остынут...

— Ничего, ничего, — утешал его дядя.

— Человечину я как-то не очень хорошо переваривaю, а доктор прописал мне диэту.

Они приступили к еде.

— Теперь сам, небось, видишь, как полезно закалять желудки, — шепнул дядя Конраду. Но все-таки после пюре из улиток его чуть не стошнило.

Конрад разговорился с Пеструшкой и очень огорчился, когда девочка собралась уходить. Он упрашивал ее посидеть еще хоть минутку, но Пеструшка распростилась и убежала домой.

— Не горюй, сынок! — сказал Рингельхут. — Ешь хорошенько!

Но у Конрада и апетит пропал.

Однако уже было пора и в обратный путь.

Они поблагодарили за гостеприимство и отправились к сахарному тростнику за Негро Кабалло. Она мирно беседовала там с белой лошадкой.

— Друзья мои,—сказала она,—пожалуйста, не сердитесь на меня, но я остаюсь здесь. Сахарный тростник — вкусная, питательная вещь. Кроме того я собираюсь жениться на этой лошадке. Посмотрите на нее — разве она не хороша? Я хочу, наконец, обзавестись семьей. Я не хочу больше знать ни цирка, ни роликовых коньков и вообще ничего, что напоминает Европу. Довольно! Я не скажу больше ни слова почеловечьи. Разговаривать — это не лошадиное дело. Назад, к природе!

— Пожалуйста, без фокусов! — закричал на нее дядя. — Это еще что за штуки?

Негро Кабалло молчала.

— Будешь ты отвечать, нелепая тварь?— заорал на нее аптекарь.

— Дядя, — остановил его Конрад, — ведь она решила больше не разговаривать. Если она уж так хочет жениться на этой лошадке, не будем мешать их счастью.

Лошадь с благодарностью поклонилась ему. Но Рингельхут продолжал бесноваться:

— С ума можно сойти! К чему этой кляче жениться? Я ведь вот тоже холостяк! И детей у меня нет!

— А я-то на что? — возразил Конрад,— раз у тебя такой племянник, тебе своих детей и не нужно.

— Ну, смотрите! — обратился дядя к Негро Кабалло: — от вашего брака получатся жеребята сплошь в клеточку. Одна Пеструшка за другой! Нет, вы серьезно не хотите идти с нами?

Лошадь отрицательно покачала головой.

— Чтобы вы себе все ноги переломали. А еще лошадь называется! Вы не лошадь, а осел!

Негро Кабалло поклонилась.

— Налево, кругом — марш! — сердито скомандовал дядя, схватил Конрада за руку и потащил за собой.

— Большое вам спасибо за все!—крикнул мальчуган, оглянувшись.

Негро Кабалло и белая лошадка высоко закинули головы и заржали дуэтом.

— Не в ногу идешь! — сердился Рингельхут.

Это была явная придирка. Просто он злился на измену Негро Кабалло.

Они брели через лесную чащу. Вдали рычали дикие звери. Павианы бросали в них кокосовые орехи. А лесу, казалось, конца не было. Чтобы не так страшно было, они затянули песню.

Дядя взглянул на часы и воскликнул:

— Ого! Без десяти семь! Если мы не доберемся сейчас до шкафа, ты опоздаешь к ужину.

— И сочинения не успею написать, — добавил мальчуган.

Они спели еще одну песенку, и дядя опять взглянул на часы.

— Если сейчас не произойдет чуда, — с грустью сказал он, — мы можем со спокойной совестью остаться здесь и предложить себя ближайшему племени на праздничное жаркое...

— А кто вам сказал, что не будет чуда? — раздался голос за их спиной.

Они обернулись. Невдалеке стоял «Вороний клюв», он же «Спешная почта», и улыбался.

— Вы уж однажды выручили нас из беды,—сказал дядя Рингельхут,—не устроите ли вы чего-нибудь насчет моего шкафа, дорогой «Спешный клюв»?

— «Спешная почта», — невозмутимо поправил чернокожий.

Потом пробормотал:

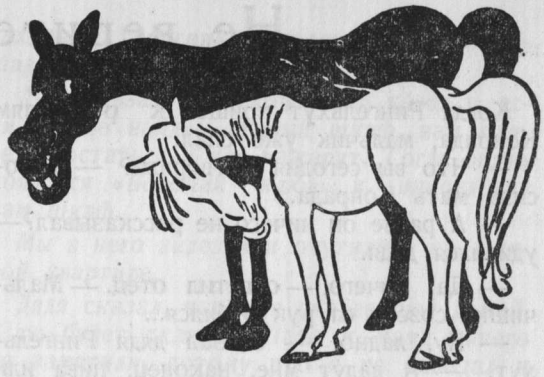
«Трижды восемь — сорок восемь.
Сорок восемь — пятью пять.
Мы сейчас его попросим
Возвратиться к нам опять!»

Он хлопнул в ладоши и... перед ним, в чаще девственного леса, среди пальм и кактусов, очутился старый дядюшкин шкаф.

— Вот уж спасибо, так спасибо! — в восторге воскликнул Конрад, но «Вороний клюв» уже скрылся за деревьями.

— Ну и шельма же этот парень! — сказал дядя. — Но все же он очень услужлив.

Он втолкнул мальчугана в открытую заднюю стенку шкафа и сам поспешно полез вслед за ним.



Негро Кабалло и белая лошадка заржали дуэтом

Сделав шаг в темноте, они открыли дверцы и... очутились в коридоре дядиной квартиры на Иоган-Мейерштрассе!

Начинало смеркаться, и Конрад зажег свет. Он надеялся найти возле шкафа хоть веточку девственного леса. Но вокруг были только стены, оклеенные обоями.

Дядя снял с себя фартук из пальмовых листьев и повесил его на гвоздик в шкафу.

— Ну, бездельник, сыпь домой! — обернулся он к Конраду. — Привет родителям. Да скажи им, что я забегу после ужина. Пусть поставят на лед кружки две пива!

Мальчуган схватил свои школьные тетрадки, заявил, что все это вышло очень здорово, на ходу чмокнул дядю в щеку и убежал.

— Ну, ну, — проворчал растроганный холостяк. Даже поцелуи поехали! Это уж как-то не по-мужски...

Он выглянул из окна. Конрад в это мгновенье как раз выскочил на улицу и взглянул кверху. Они с улыбкой кивнули друг другу.

Аптекарь привел в порядок комнату, убрал валявшийся на полу тюфяк и тарелки со стола. Потом вышел в коридор, с любопытством заглянул в старинный шкаф и покачал головой. Фартук из пальмовых листьев исчез! И задняя стенка шкафа была на месте!

Старинный шкаф стоял у стены так же, как он стоял там уже много лет. Дядя еще раз покачал головой.

— Тэк-с, а теперь после трудов праведных выкурим сигарку, — пробормотал он и направился в комнату, напевая вполголоса:

«Мы не будем уверять,
Кто не верит — наплевать!»

Не верите, ну и пусть!

Когда Рингельхут пришел к родителям Конрада, мальчик уже спал.

— Что вы сегодня вытворяли? — спросила мать Конрада.

— А разве он ничего не рассказывал?— удивился дядя.

— Да, ничего, — ответил отец. — Мальчишка совсем от рук отбился...

— Ну, ладно, — сказал дядя Рингельхут. — А дадут мне, наконец, пива или нет?

Мать Конрада налила ему стакан и потом опять спросила:

— Нет, все-таки, каких глупостей вы натворили?

— Ого! — сказал дядя, — сегодняшний день прошел очень занятно. — Какая-то лошадь спросила нас на Глассисштрассе, нет ли у нас сахару. У нас не было. И можете себе представить? Она заявилась потом ко мне на квартиру. Потом мы были у толстяка Зейдельбаста. Он учился раньше в одной школе с Конрадом, а теперь стал президентом в «стране лентяев». Там, знаете ли, удивительные деревья! На них растут готовые пироги. Потом мы поехали на Южный океан. Я до сих пор понять не могу, как это мы вовремя вернулись!..

Родители Конрада с ужасом переглянулись.

Отец серьезно сказал:

— А ну, покажи язык.

А мать сказала:

— Тебе нужно положить холодную примочку на голову.

— Еще стакан пива, вот что мне нужно, — ответил дядя, — да, пожалуйста, поживей, нето я буду пить прямо из бутылки!

— Ну нет, брат, — воскликнул отец Конрада, — больше ты не получишь ни капли!

— Почему ты от меня скрыл, что в вашем роду есть сумасшедшие? — с упреком сказала мать Конрада своему мужу.

— А что, затылок у тебя не болит? — спросил брат у аптекаря. — Мальчуган очень шалил после обеда? Тебе надо быть с ним построже.

Дядя Рингельхут налил себе полный стакан пива, выпил его залпом и сказал:

— С вами сегодня каши не сваришь. Вы слишком стары для своего возраста!

— Еще чего! — воскликнул брат. — Он еще смеет делать нам выговоры! Это не мы слишком стары, а ты слишком молод!

— Ах, вот как? — воскликнул дядя Рингельхут. — Ну, ладно, будьте здоровы! Я только загляну к мальчику, посмотрю, как он спит.

— И, пожалуйста, не дури, — сказал брат.

— Оставь ты меня в покое! — закричал дядя, а то я сейчас же притащу нюхательного табаку и взорву вас на воздух. Ну, а пока честь имею!

И, церемонно поклонившись, он направился в комнату Конрада.

Бесшумно повернув выключатель, он на цыпочках подкрался к кровати.

Мальчик крепко спал. Но вдруг он заворочался, усмехнулся во сне и пробормотал:

— Ну, полезай в карман, карапуз!

— Ах ты плут, — прошептал дядя. — В следующий раз я превращу тебя в таракана.

Потом он оглядел комнату. На столе тетрадка с надписью «Домашние сочинения». Он взял ее и стал перелистывать, пока не нашел того, что искал.

ЧТО Я ВИДЕЛ НА ЮЖНОМ ОКЕАНЕ

По четвергам всегда очень весело. Потому что я прихожу к дяде. По четвергам он свободен. Он аптекарь, и фамилия его Рингельхут. Такая же, как у меня. Потому что он мой дядя.

Сегодня опять был четверг. И я ему сказал, что должен написать сочинение о Южном океане. Потому что я хорошо знаю математику, но у меня нет воображения. А он сказал, что просто надо туда съездить.

Мне очень понравилось, что он так сказал.

Ну, мы и отправились. Сперва в старый шкаф в коридоре. Потом в «страну лентяев», потом в замок с умершим королем. Много было интересного. Мы ехали на ло-

шади, которую встретили на Глассисштрассе и кормили сахаром и которая на роликах. Я думал, что экватор совсем другой, а мы прокатили по нему через море на остров в Южном океане.

Со всех сторон тоже были острова. И коралловые рифы, из которых делают красивые ожерелья. И акулы, которые хотели слопать дядю. Потому, что у него толстый живот. Я дал акуле по морде, а дядя мне за это дал марку. Я скопил уже четыре марки на паровик.

Потом обезьяна дирижировала. Особенно смешно получалось с тремя тиграми. Дядя хотел выстрелить из палки. Они испугались, замахали белым платком и убежали в лес. Больше всего мне понравилась Пеструшка. Это маленькая девочка. Она вся разрисована черными и белыми квадратиками. Она плакала потому, что за ней гнался кит. Ведь киты млекопитающие и в воде живут по ошибке. Пеструшка показала ему язык, вот он и рассердился. «Вороний клюв» был там начальником. Он выстрелил в кита печеными яблоками из перочинного ножика и прогнал его. Потом мы обедали. Нас хотели угостить жареным человеческим мясом. Только не нашли его в кладовой. Но и без того там были противные вещи. Комары, змеи, улитки. Дядю чуть не тошнило, а я — ничего. Жалко, что наша лошадь осталась там. Ей понравился сахарный тростник и маленькая белая лошадка.

Дядя сказал, что скоро семь часов и, если мы не найдем старый шкаф, нам придется остаться и нас изжарят. Тогда опять появился «Вороний клюв» и наколдовал нам шкаф.

Мы в него залезли и очутились на дядиной квартире.

Дядя сказал, чтобы я скорее шел домой, а то будет скандал. Папа и мама ничего не заметили, потому что я не опоздал к ужину. А у нас это самое главное.

А потом я сел писать это сочинение.

Без дяди я ничего не смог бы сделать. У нас в семье все очень способные. Это уж у нас в крови. Дядя тоже так сказал.

Вот и все. Было еще много чего, но как раз, когда нужно, половину забываешь.

А кто этому не поверит, ну и пусть!

А то спросите моего дядю. Он вам скажет.

Дядя Рингельхут осторожно положил тетрадку на место, подошел к кровати, погладил спавшего мальчугана по голове, подкрался на цыпочках к двери, обернулся еще раз и прошептал, выключая свет.

— Спи спокойно, сынок!

А ведь Конрад был ему только племянником.

Составные животные

Проф. Н. Токин *Рис. М. Аскинази*

Сливы на миндальном дереве

Один американский миллионер сделал как-то необычайное об'явление: тому, кто в течение не более чем 9 месяцев сумеет вырастить 20 тысяч сливовых деревьев, будет выдано большое вознаграждение.

Задача казалась невозможной: ведь сливовые деревья растут медленно, и для того чтобы получить дерево, дающее плоды, нужно несколько лет. И все же странный заказ был выполнен. Это сделал крупный американский ученый Бербанк. Он посадил не сливы, а другие деревья, быстро растущие,— миндаль, и через несколько месяцев получил довольно большие растеньица. Но ведь нужны были сливы! И вот Бербанк взял 20 тысяч почек от сливовых деревьев и подсадил их под кору своих растений. Почки привились, и скоро на миндале появились сливовые веточки, которые стали быстро расти. За 9 месяцев у Бербанка получились довольно большие сливовые деревца, и, таким образом, он смог сдать заказ.

У нас, в Советском союзе, города строятся с необычайной быстротой. В два—три года вырастают новые гиганты. Но надо так же быстро, как строятся дома, выращивать и сады, чтобы города сразу были зелеными, здоровыми и красивыми. И наши садоводы делают в этом отношении замечательные вещи: они и пересаживают уже большие, взрослые деревья и прививают к одним растениям другие, как это сделал Бербанк.

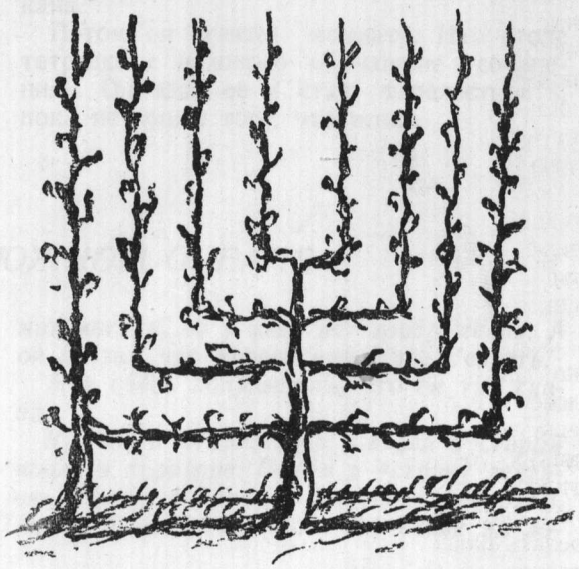
Посмотрите на это деревцо, похожее на красивые зеленые вилы. Конечно, оно не само так выросло. Его заставили принять эту форму, и довольно простым способом: веточку основного деревца прикрепляли к стволу другого, она здесь приживалась и под прямым углом поднималась вверх. Затем, ствол этого второго дерева под ней срубали и оставалась ветка, растущая вверх. Слева на картинке еще виден несрубленный ствол такого добавочного деревца.

Наше красивое дерево-вилы по-настоящему не одно дерево, а многие, сросшиеся вместе. И все они срослись так, что стали одним единственным деревом! Садовод построил из них свои зеленые вилы.

Да можно ли из многих живых существ сделать одно?

Растения иногда срастаются вместе и сами по себе, без вмешательства человека. Многие, наверное, видели сросшиеся листья и даже целые деревья. Довольно часто срастаются грибы: найдешь иной раз в лесу красивую сыроежку и не знаешь, один это гриб или два.

Способность растений прирастать друг к другу ученые и садовники используют очень широко. Мичурин и другие ученые, пользуясь этим свойством, совершенно переделали многие растения, улучшили их. Есть, например, два вида винограда: сладкие европейские сорта и менее вкусные, но более живучие, американские. Американские сорта замечательны тем, что не болеют филоксерой. Это такое маленькое насекомое, от которого гибнет наш европейский виноград. И вот садоводы берут американский виноград, прививают к нему европейский,



и получается виноград, не боящийся филоксеры, — виноград с американским корнем, но с превосходными сладкими ягодами.

Теперь представьте себе такой случай: в сад забрались зайцы и обгрызли кору у яблони. Дерево, казалось бы, должно погибнуть, но его еще можно спасти. Надо найти пониже поврежденного места здоровую ветку, прикрепить ее верхушку к стволу, выше раны, и добиться, чтобы она приросла. И, когда веточка прирастет, дерево спасено: питательные соки из земли пойдут теперь по веточке вверх.

Мы можем вмешиваться в жизнь растений, управлять ими, создавать новые растения. Многих садовых цветов в диком виде совсем нет. Их создал человек.

Срастаются ли животные?

Многие скажут: все эти удивительные вещи могут происходить только с растениями, с животными ничего подобного сделать нельзя. И в самом деле, разве могут срастаться крысы? Или лягушки?

С первого взгляда это кажется совершенно невозможным. Бессмысленно даже задавать такой вопрос.

Однако многое, что кажется «невозможным» и «бессмысленным», наука делает возможным и осмысленным.

Никому, конечно, не придет в голову срастить двух людей, но сращивать отдельные органы человека очень часто бывает необходимо, чтобы спасти ему жизнь. Например у человека может серьезно заболеть пищевод, настолько серьезно, что он уже не в силах будет работать. Человек должен умереть как дерево с поврежденной корой. Тогда хирурги вырезают больной кусок пищевода и вместо него вставляют кусок вырезанной кишки. Когда она приживется, пища может проходить в желудок. Человек спасен.

Хирурги умеют делать уже очень многое, но далеко не все. Например прирастить человеку отрезанную руку или ногу врачи еще не умеют. Для того чтобы узнать, в каких условиях лучше срастаются живые ткани, приходится сначала делать опыты над животным: ведь нельзя попробовать отрезать палец, чтобы затем посмотреть, прирастет ли он снова!

Неразлучные крысы

Какие дружные крысы: они стоят, тесно прижавшись друг к другу. Эти крысы никогда не расстаются, но не по собственной воле. Они попросту не могут разбежаться в разные стороны: они сращены. Бока у них приросли друг к другу, и крысы одна без другой шагу ступить не могут.

Как же срослись эти крысы? Им на боках сделали надрезы, приложили их друг к другу, сшили нитками и забинтовали туловища и хвосты.

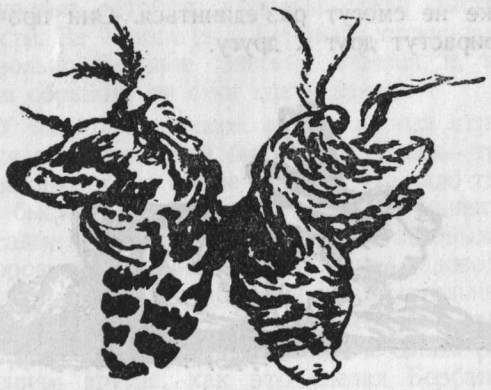
Точно так же поступили и с кроликами. Они уже совсем поправились после операции. Скоро повязку снимут, но кролики уже не смогут раз'единиться. Они прочно прирастут друг к другу.

Такие сращенные животные могут жить довольно долго: несколько месяцев, иногда целый год.

Ученые делают с ними удивительные опыты. Можно вырезать у одного из кроликов обе почки. Без почек жить нельзя, и кролик быстро погибнет, если он не сросся с другим! Почки другого будут работать на двоих, и наш кролик отлично проживет без почек. Но зато если заболеет чем-нибудь один кролик, то обычно заболевает и другой.

На этих бабочек стоит посмотреть повнимательнее: таких не бывает в природе. Каждая бабочка состоит из двух сросшихся вместе. Оказывается, бабочек тоже

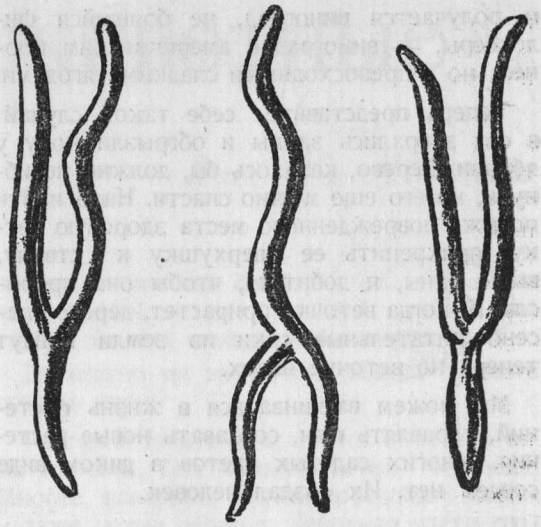
можно сращивать. Трудно даже представить себе, как это делают. Бабочки ведь такие хрупкие: от малейшего неловкого прикосновения их нежные крылышки мнутся, и бабочки умирают! Как же поступают биологи? Они берут не бабочку, а ее куколку. У двух куколок отрезают куски тела, потом куколки складываются друг с другом и шов—место соединения—заливается парафином.



Куколки срастаются и начинают развиваться вместе. Потом они превращаются в бабочек. Конечно, не всегда, да и дело это непростое. Но когда удается, то это стоит многих неудач. Ведь каждая такая бабочка вышла не из одной гусеницы, как обыкновенная бабочка, а из двух.

Это все равно, как если бы родилось два брата, а потом вырос из них обоих только один взрослый человек.

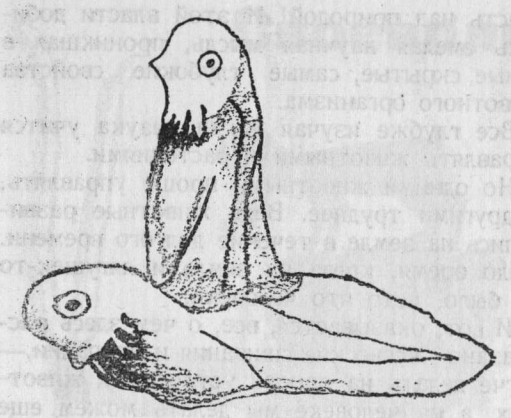
Каждому, наверное, случалось, копая землю, нечаянно разрезать пополам дождевого



червяка. Червяк при этом не погибает, обе половинки его продолжают жить, а если понаблюдать за ними, то окажется, что из каждой вырос новый большой червячок. Вместо одного стало два. А можно половинку одного червяка прирастить к половинке другого. Для этого их надо крепко соединить. Конечно, нельзя соединять червей клеем, так как кровь сообщаться не будет и нервы не смогут срастись. Лучше всего их сшить тончайшими ниточками. Чтобы прирастить к целому червяку кусок другого червя, надо на первом сделать небольшой надрез ножницами, так как через кожу червяки срастись не могут.

Одна лягушка из двух головастиков

Интересные опыты можно делать над головастиками. Можно, например, сделать «наездника». Этот «наездник» крепко сидит на своем коне. Никакой скачок такого «кавалериста» не вышибет из седла: он одно целое со своим конем. Как получилось это странное животное? На спине одного головастика сделали надрез и к нему прикрепили половинку другого. Вы сами можете попробовать весной, когда в каждой канаве плавает много головастиков, вырастить такого «наездника». Но это не так просто. Нужно много терпенья и уменья.



Для этого надо головастиков на некоторое время закрепить в таком положении. Это можно сделать так: слегка растопленный воск налить в блюдечко, чтобы был довольно толстый слой его, затем, надо сделать в нем ямочку, величиной с головастика и в нее поместить «коня» и «всадника». Чтобы головастики не двигались, их необходимо прикрыть стеклом. Поверх воска обязательно должна быть налита вода.

Головастики срастаются быстро. Можно голову одного прирастить к хвосту другого, и головастик будет жить. Только лягушек из этих головастиков вывести обычно не удается: когда приходит пора превращаться в лягушек, головастики или умирают или раз'единяются.

Но некоторым ученым удалось все же добиться превращения сращенных головастиков в лягушонка. Ученый Борн брал очень молодых головастиков (у них еще хвоста и конечностей нет), сшивал их тончайшими серебряными волосками, у некоторых головастиков срастались даже кишечники. Такая личинка принимала пищу и превращалась в лягушонка, как будто она была одним головастиком, а не была сшита из двух! Сращивать можно также и целых головастиков: и передними концами, и задними, и спинками, и брюшком, и боками.

Как видите, ученым приходится быть и портными и притом портными очень ловкими! Сшить живых головастиков или червяков—это ведь не то, что сшить платье!

Больше всего это животное похоже на сказачного дракона: черное туловище, белые лапы, странный рог на голове. А ведь это обыкновенный аксолотль, т. е. конечно, не совсем обыкновенный, потому что ученые очень изменили его вид, делая над ним опыты, но, во всяком случае, это не сказочное животное. У черного аксолотля отрезали лапки и приставили взамен лапки белого аксолотля. И что же? Лапки отличили приросли. А странный рог на голове, присмотритесь к нему внимательнее,—ведь это тоже лапка.

Этот аксолотль превосходно себя чувствует несмотря на чужие лапы и одну лишнюю на голове. Он проживет столько же, сколько вообще живет нормальный аксолотль.

Можно ли прирастить палец человеку?

Пересаживая конечности одного аксолотля к другому, сращивая между собой головастиков, крыс и других животных, ученые не играют, не забавляются внешностью полученных уродцев, а серьезно и упорно учатся. Мы рассматриваем срастающиеся ткани и простым глазом, и под микроскопом, и в лупу, сшиваем их, скрепляем, пробуем и так и эдак и все смотрим, каким же образом одна кость лучше прирастает к другой, как лучше подвести друг к другу кровеносные сосуды. И, учась на животных, мы все больше начинаем понимать, как оперировать человека.

Человек, отморозивший или другим путем потерявший три пальца на руке,—калека. Он ничего не может делать этой рукой. Но мы уже научились постепенно наращивать на месте обрубков пальцев куски костей и мускулов. Конечно, это не настоящие пальцы, но ими уже можно писать, шить, брать различные предметы.

Если вы внимательно прочли все это, то вы уже убедились, каким сложным оказывается самый простой на первый взгляд вопрос: одно ли перед нами растение или животное, два ли их, или много? Где кончается одно растение и начинается другое в наших зеленых вилах, в сросшихся грибах? Двухвостые и двуголовые черви — это один червяк или два? И сращенные куколки и сшитые головастики, из которых вышла одна, небывалого вида бабочка и один лягушонок,—попробуйте отгадать, когда тут перестало быть два животных и стало одно!

Какая замечательная, почти сказочная власть над природой! И этой власти добилась смелая научная мысль, проникшая в самые скрытые, самые глубокие свойства животного организма.

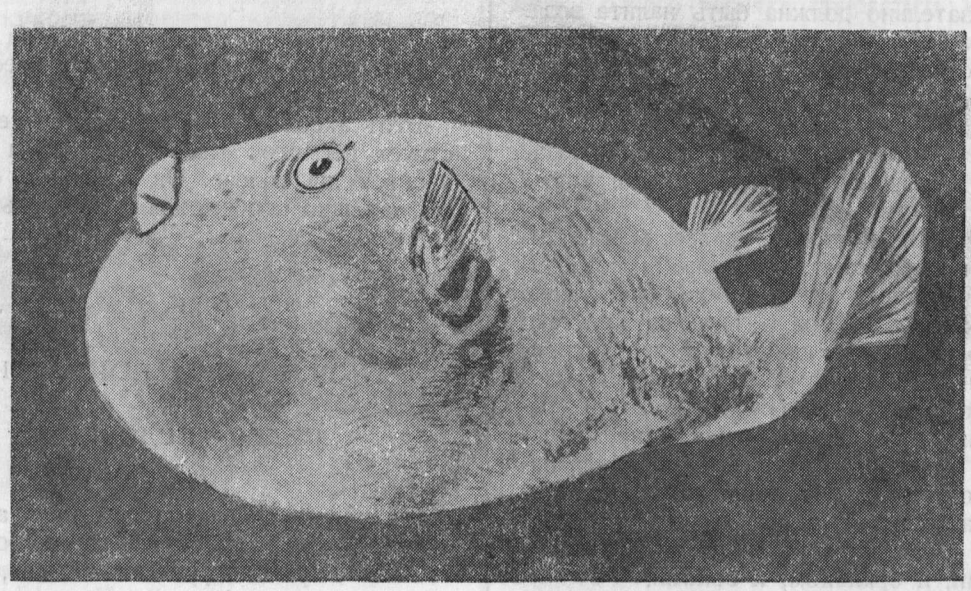
Все глубже изучая жизнь, наука учится управлять животными и растениями.

Но одними животными проще управлять, а другими труднее. Ведь животные развивались на земле в течение долгого времени. Было время, когда на земле и лягушек-то не было, нето что человека.

И вот, оказывается, все, о чем здесь рассказано—всяческие сшивания и операции,—легче делать на просто устроенных животных, а на человеке мы делать можем еще мало. Но пройдут годы, может быть, десятилетия, и хирурги научатся приращивать и человеку отрезанные пальцы, руки и ноги!

И мы, возможно, научимся так менять и лепить по-своему живые существа, как теперь и не мечтаем.

Это мяч-рыба



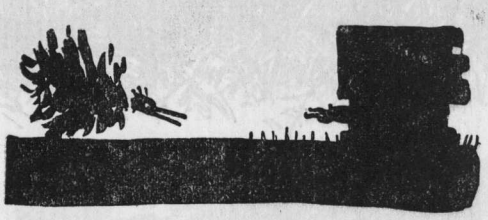
Вот теперь ясно видно, что это рыба и что никаких ушей у нее нет. Это просто плавники так торчат, что их можно принять за уши.

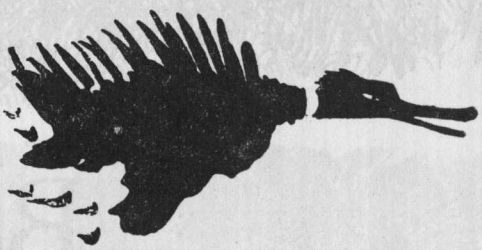
Это мяч-рыба. Называется он так потому, что в минуту опасности она заглатывает много воздуха и надувается как шар. В то же время игольчатый панцырь, которым защищена рыба-мяч, топорщится и становится дыбом, как у ежа.

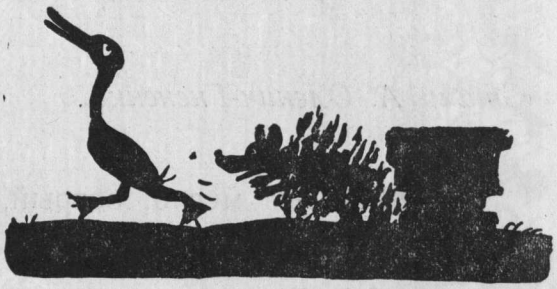
Зубы у мяч-рыбы выдаются действительно как клюв попугая, поэтому рыболовы называют ее еще попугай-рыбой. Эти зубы такие крепкие, что попугай-рыба перекусывает ими толстую медную проволоку. По мере изнашивания «клюв» этой рыбы обновляется.

К числу наиболее известных представительниц мяч-рыб принадлежит пестрая «фахака» арабов. Она поднимается из Средиземного моря вверх по Нилу и, когда воды спадут, остается на суше, среди ила и тины. Дети феллахов играют тогда ею, обрезают уголки и делают из нее мячики.

Своевольные кляксы







Кляксы художника Каневского продолжают жить своей самостоятельной жизнью.

— Я больше не могу с ними справиться,— сказал Каневский, положив на редакционный стол несколько измазанных кляксами страниц. — Делайте с ними что хотите.

Мы повертели их в руках, подумали и решили, что мы без помощи читателей не справимся с этими своевольными кляксами.

Дорогие читатели! Вот эти кляксы перед вами в том же беспорядке, в каком они вылезли из баночки с тушью. Очень вас просим, пожалуйста, поставьте их на место в том порядке, как полагается, и расскажите, что здесь случилось. Тот из читателей, кто лучше всех разместит эти кляксы и напишет про них лучшую историю, получит... автомобиль. Нет, велосипед... Тоже нет... Часы! Нет, пожалуй, не часы, а вот что: мы его подпишем на год на журнал «Пионер».

Вечер

Стихи А. Оленич-Гнененко. *Рис. П. Митурича*

Выплыл месяц, острый, тонкий —
В синем небе светлый серп.
Серый волк прошел сторонкой
И залег в тени у верб.

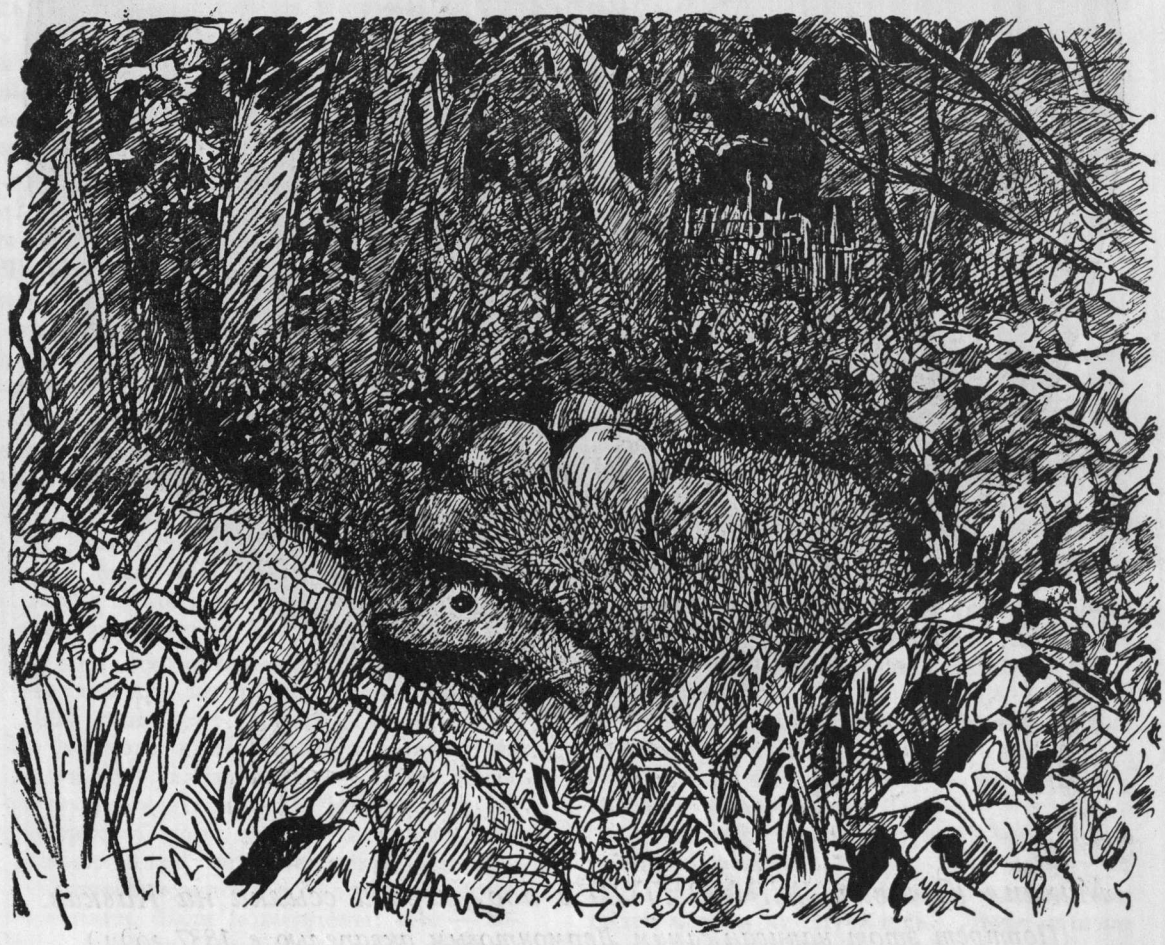
Звезды ярче, звезды выше,
Не шумит камыш седой,
И полет летучей мыши
Чуть заметен над водой.

Е Ж

Проснулся еж в замолкшей чаще,
Царапнул лист, понюхал пень
И по тропинке шелестящей
Перебежал в густую тень.

Ступает осторожно лапка,
Готова замереть она.
Ежа щетинистая шапка
Сера и ночью невидна.

Он побывать успеет всюду
В облитых росами садах:
На иглы нижет яблок груду
И на мышей наводит страх.



Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ в пору первой ссылки на Кавказ.
(Портрет этот написан самим Лермонтовым акварелью в 1837 году.)

Б. М. ЭЙХЕНБАУМ

Поручик Тенгинского полка

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В ночь под 1 января 1837 года Лермонтов пришел на традиционный бал-маскарад в Благородном собрании. Танцовать ему не хотелось. Он ходил по залам и разглядывал публику. Было много знакомых, но разговаривать с ними тоже не хотелось — он раскланивался и проходил мимо. Наконец, его остановил кузен Николай Аркадьевич Столыпин — пустой малый, болтун, сплетник, постоянный посетитель придворных салонов и великосветских балов:

— Ну что, Мишель, как тебе нравится бал? Ты что-то мрачен. Не влюблен ли? Кто она?

Лермонтов не отвечал, но, увидев вдали блестящего кавалергарда, самоуверенно и нагло осматривавшего зал, спросил Столыпина:

— Что это за красавец?

— Неужели ты не знаешь? Это же известный барон Дантес-Геккерен, Егор Осипович! Помилуй, его все знают и любят!

И Столыпин, воодушевленный тем, что нашел человека, который «ничего не знает», стал рассказывать все сплетни, связавшие в последнее время имя Пушкина с именем Жоржа Дантеса.

Это имя Лермонтов слышал еще в школе гвардейских подпрапорщиков. В начале 1834 года этот самый Дантес, незадолго до того приехавший в Россию из Франции, держал экзамен и был по высочайшему приказу зачислен корнетом в кавалергардский полк, хотя не знал ни слова по-русски. Даже великосветские юнкера, державшиеся вдали и хваставшие своими титулами, были возмущены: они — коренные русские, дети вельмож — должны были, как мальчишки, зубрить этот ужасный русский язык для того, чтобы окончить школу и перейти в полк, а этот французик-авантюрист, не знавший ни одного русского слова, сразу попал в корнеты!

Так вот он — этот «знаменитый» Дантес, покоритель дамских сердец и любимец Николая I. Но при чем тут Пушкин? Зачем он связывается с этой придворной сволочью?

---

28 января по Петербургу разнесся страшный слух, будто бы накануне состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом — и Пушкин убит! Лермонтову сказал об этом на улице встретившийся товарищ по полку.

Куда кинуться? Где узнать точно?

Пойти прямо на квартиру к Пушкину? Нет, невозможно!

Лермонтов бросился в министерство иностранных дел, где служил Раевский — его близкий друг; если это правда, он, наверно, уже знает.

Раевский вышел к нему бледный, чуть не со слезами на глазах.

Незачем было спрашивать: все было ясно.

Что делать? Как ответить?

Лермонтов весь дрожал, как в ознобе. Он бросился к выходу, но Раевский его не пустил одного. Они вышли вместе.

— Что делать?

— Вызвать этого проходимца на дуэль и убить как собаку!

— Дуэли не допустят, а за дерзость сошлют — вот и все.

— Но надо же что-нибудь сделать! Молчать невозможно!

На улицах все было по-прежнему, как будто ничего не случилось. Люди шли по своим делам. Сонный извозчик стоял на углу. Кляча спала, опустив голову почти до самой мостовой.

Лермонтов толкнул клячу так, что она пошатнулась. Извозчик вздрогнул и схватил вожжи.

— На Садовую! Скорей!

Они поехали домой.

По дороге Раевский намекнул Лермонтову, что хорошо было бы написать стихотворение на смерть Пушкина. Никто другой не сумеет так сильно написать, как может он, Лермонтов.

Дома Лермонтов, не зайдя к бабушке, прошел в свою комнату и заперся.

Пушкина нет! И он не успел встретиться, не успел ничего сказать ему! Как жестоко, как ужасно!

Грибоедов погиб, Веневитинов утонул, Батюшков сошел с ума, Чаадаев об'явлен сумасшедшим, Пушкин убит!

Какая ужасная страна!

Как Пушкин не сумел вырваться из цепей этого тирана?

Ослабела воля, ослабело творчество, стало душно. А Дантесы только и ждут этой минуты.

Он долго терпел, долго боролся, но когда дело дошло до мелких и грязных сплетен, когда дело коснулось его чести, он не вынес.

Первое волнение прошло. Лермонтов сел писать.

Писал быстро, едва поправляя. Черновик был готов.

К двери несколько раз подходила бабушка и звала, но он отвечал, что занят и что скоро выйдет.

Поздно вечером постучал Раевский. Лермонтов открыл.

Раевский вошел взволнованный:

— Пушкин еще жив, но при смерти. Говорят, что надежды нет.

Лермонтов подошел к столу и убрал стихотворение в ящик.

Ночь прошла почти без сна. Раевский сидел у Лермонтова в комнате.

Настало 29 января.

Раевский пошел на службу. Лермонтов условился с ним, что в середине дня зайдет узнать о Пушкине.

Лермонтову нездоровилось. Он чувствовал странный упадок сил. Временами его мучил нервный озноб.

Он прилег на диван и заснул тяжелым сном.

Когда он проснулся и вскочил, было уже 2 часа дня.

Он кинулся в министерство к Раевскому.

Ничего не было известно, но, по словам доктора Арендта, положение безнадежное.

Лермонтов вышел и почти бессознательно направился по дороге к дому, где жил Пушкин, на Мойку.

Чем ближе он подходил, тем все больше ускорял шаги, как будто все дело было в том, чтобы не опоздать.

Вот и дом. Стоят и ходят какие-то люди. Из ворот вышел человек, которого Лермонтов знал через Раевского, кто-то из литераторов. Лицо его было грустно.

Лермонтов остановил его:

— Что Пушкин?

— Пушкин умер полчаса назад.

Лермонтов отошел к решотке набережной и прислонился. Он едва стоял на ногах: приступ нервного озноба схватил его с новой силой.

Раевский был уже дома и волновался.

Лермонтов протянул ему свое стихотворение.

— Где ты был?

— Пушкин умер.

Лермонтов упал на диван и зарыдал. Все тело тряслось от страшного озноба.

— Ты болен? Надо позвать доктора.

— Позови Арендта. Бабушка с ним знакома. Расскажи ей все.

Вечером приехал Арендт. У Лермонтова было нервное расстройство.

Арендт сам выглядел больным. Он рассказал о последних минутах Пушкина и о некоторых подробностях всей этой трагической истории.

— Судить надо этого проходимца! Будут его судить? — спрашивал несколько раз Лермонтов.

Арендт пожимал плечами.

Когда Арендт уехал, Лермонтов попросил Раевского дать ему рукопись стихотворения и внес некоторые дополнения и изменения. Потом он поднялся и громко прочитал его вслух:

«Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор,
И жалкий лепет оправданья? —

Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар,
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... — он мучений
Последних вынести не мог:
Угас как светоч дивный гений,
Увял торжественный венок.
Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. из далека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..
И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,

Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..
И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шопотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать —

Они решили, что это стихотворение надо распространить.

Раевский сел его переписывать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Лермонтов из дому не выходил.

Кое-кто из товарищей навестил его. Все жалели о Пушкине, но некоторые склонны были оправдывать Дантеса. Лермонтов горячился и возражал.

Явился и кузен Столыпин, тот самый, который на новогоднем балу показал Лермонтову Дантеса.

Он уже знал стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина и в общем одобрял его, но находил, что Мишель слишком резко и несправедливо говорит о Дантесе.

«Подобный сотне беглецов» и так далее, зачем так грубо? Чем, собственно, виноват Дантес? Конечно, жалко Пушкина, но ведь Дантес — знатный иностранец, барон, а Пушкин — обыкновенный дворянин без титула, сочинитель. Какое дело, собственно говоря, Дантесу до русской поэзии? Пушкин его обидел, затронул его честь.

Лермонтов отвечал, что скорее России нет дела до «чести» иностранных авантюристов, что Дантеса надо наказать, что государь должен это сделать и, вероятно, сделает.

— Судить Дантеса по русским законам нельзя, — хладнокровно и поучительно, слегка пришепетывая, говорил Столыпин. — Дипломаты и знатные иностранцы не могут быть судимы на Руси. Притом Дантес, я повторяю, не совершил никакого преступления.

Лермонтов вскочил:

— Если над этими мерзавцами нет закона и суда земного, так есть суд божий!

Столыпин иронически улыбнулся:

— У тебя, дорогой Мишель, нервы

Рисунки Лермонтова

Молодой офицер с мрачным и решительным взглядом, должно быть,—почитатель Байрона. Произведениями английского поэта зачитывалась тогда вся передовая молодежь. Громадное влияние оказал Байрон и на Лермонтова. Юноша на рисунке слева—юнкер Хомутов, приятель Лермонтова.

слишком раздражены. Ты болен. Оставим этот разговор.

— А у тебя нет ни нервов, ни души, ни любви к России! Ты придворный лакей! Ты враг Пушкина и мой враг!

Столыпин покраснел, глаза его блеснули злобой, но он принужденно засмеялся и хотел что-то сострить.

— И я прошу тебя немедленно уйти! — закричал Лермонтов в совершенном гневе и схватился за стул. — Я не ручаюсь за себя!

— Он сошел с ума, его надо связать, — пробормотал растерявшийся Столыпин и, пожав плечами, быстро вышел.

Вошла встревоженная бабушка.

— Что у вас тут? Что с тобой, Мишель?

Лермонтов стоял посреди комнаты, на нем не было лица.

Когда бабушка ушла, Лермонтов сел опять писать. В стихотворении, которое он написал, не все было сказано до конца. Теперь у него сложились новые, дополнительные строки:

«А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть, есть божий суд, наперстники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!»

Теперь сказано все, вся правда — и будь, что будет!

В начале февраля, на масленице, в доме некоей графини был раут. Гости были самые избранные, в том числе и сам шеф жандармов Бенкендорф. Небольшого роста, обрюзглый, одутловатый, он с важным видом расхаживал по комнатам и говорил французские комплименты дамам.

— Все сложилось благополучно. О Пушкине уже забывают. Беспокойный и невоспитанный был человек! А служить не умел

и не хотел. Стишки — стишками, а у нас служить надо, да-с!

Бенкендорф вздернул плечами, поправил усы и бакенбарды, сделал государственное выражение лица и опустился на диван. Теперь можно и отдохнуть!

Из соседней залы к нему подплыла дама, известная разносчица всяких новостей и сплетен. На лице ее было написано блаженство, смешанное со злобой. Бенкендорф терпеть ее не мог. У него самого достаточно хорошо поставлено дело. Она всегда является с запоздалыми новостями, а надо делать вид, что он очень благодарен и пр. Но уйти некуда.

— Изволили вы, граф, читать новые стихи на всех нас?

Бенкендорф не шевельнулся, а только поднял брови и выпятил губу.

— Да, да! И на меня и на вас! На всю аристократию. Все наше высшее дворянство оскорблено в этих стихах. Их написал гусар Лермонтов. Возмутительно!

И она торжественно протянула Бенкендорфу листок бумаги:

«Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой...»

Ах, это он давно знает! Это написал внук Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Напрасно, конечно, написал: не к лицу гусару, но, в конце концов, ничего предосудительного в этих стихах нет кроме чрезмерной похвалы по адресу Пушкина.

— Как ничего предосудительного?! У вас, вероятно, не хватило терпения дочитать до конца?

Она перевернула листок и показала пальцем на заключительные строки:

«А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных
отцов...»

Нет, этого он не читал! Этого там не было!

Бенкендорф не верил своим глазам. Он даже вспотел от волнения. Как же старуха Арсеньева допустила? А еще недавно приходила встревоженная, и он ее успокоил.

Придется доложить государю. Если эта сплетница знает, то завтра будет знать уже весь свет. Могут быть неприятности.

— Да, этого не было. Я вам очень признателен за услугу!

Вечер был испорчен. Отдохнуть не удалось.

Что за удивительная страна эта Россия! Не успеешь справиться с одним, как на его место является другой.

На следующий же день Бенкендорф явился на прием к государю с листком в руках.

Николай I вышел с нахмуренным лицом. Брови были сдвинуты, губа выпячена — признак гнева. В руке у него был листок бумаги. Почти не поздоровавшись, он сунул Бенкендорфу листок:

— Полюбуйтесь, что пишут наши верноподданные гусары!

На листке, сверху, была надпись *«Воззвание к революции»*, а затем следовал текст стихотворения Лермонтова с дополнительными строками.

— А вы докладываете, что все спокойно. Где же ваши знаменитые глаза и уши?

Бенкендорф быстро протянул Николаю I свой листок. Почерк был один и тот же.

Репутация была спасена.

Но зато по залам дворца, уже давно привыкшим к фамилии Пушкина, гулким эхом прозвучала новая фамилия, произнесенная громко и сурово:

ЛЕРМОНТОВ!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Одним росчерком пера машина, усовершенствованная Бенкендорфом, была пущена в ход.

Лермонтов должен был быть в Царском селе, где стоял его полк, но он, как и многие другие, только приезжал туда на ученья, а жил в городе. От Петербурга до Царского села уже ходил поезд, но бабушка боялась крушений и умоляла его ездить попрежнему на лошадях. Товарищи смеялись над ним, но он исполнял ее просьбу.

Жандармы не боялись крушений и быстро доехали до Царского села. Лермон-

това там не оказалось. Квартира была нетоплена. Слуга об'яснил, что Михаил Юрьевич «хворали и давно не были в Царском».

Начальник штаба, кутаясь в шинель, взялся за работу: не даром же он тащился сюда? Надо посмотреть, нет ли здесь чего-нибудь подходящего. Он вытаскивал из стола бумаги и письма, просматривал, хмурился, покачивал головой: «Пропишут молодцу — будет знать!»

Покончив это предварительное дело, жандармы поехали обратно, на городскую квартиру, к бабушке. Лермонтов был там. Но этого им было мало:

— А где губернский секретарь Святослав Раевский?

— Он на службе.

— Послать за ним на службу!

Бабушка долго не могла понять, что за странные незнакомые гости пожаловали к Мишелю. Ее не пустили в комнату и просили пройти к себе и не беспокоиться.

Комнату корнета Лермонтова осмотрели, но подробного обыска не делали: успеется. Запечатали бюро, стол и комод. Когда пришел Раевский, сделали то же самое и в его комнате, а Лермонтову предложили пройти в бабушке в сопровождении одного из «гостей» и проститься.

Лермонтов побледнел при мысли о том, что будет с бабушкой, когда она поймет, в чем дело.

— А что будет со мной дальше?

— Это нам неизвестно, а сейчас вы поедете с нами.

— Куда?

— Это вы увидите сами.

Мишель пошел к бабушке. За ним следовал усач в полной форме.

Через полчаса квартира опустела.

Бабушка вела себя молодцом до самого от'езда. Она храбрилась и даже покрикивала на жандармов:

— Это что-нибудь не так! Вы не смеете так сразу увозить! Я хорошо знакома с графом Александром Христофорычем. Я сейчас поеду к нему жаловаться — и вам достанется.

Жандармы ухмылялись и советовали старушке не хлопотать: они приехали по распоряжению именно самого графа Александра Христофоровича Бенкендорфа.

— Это какая-нибудь ошибка, этого не может быть! — уверенно повторяла бабушка.

Она держала себя спокойно и даже величественно. Но когда Мишеля увезли, ей стало так жутко, как никогда еще не было. Она ходила из комнаты в комнату и все прислушивалась, не возвращается ли он обратно.

Настала ночь — его не было.

Неужели все это из-за этого несчастного стихотворения?

На улице была вьюга. Где-то в трубе завывал ветер.

Ей стало холодно. Она велела затопить камин и села перед ним в кресло. Со стен смотрели портреты покойного мужа и покойной дочери. Как это было давно! Сколько пришлось пережить!

И вот она одна со своими мрачными воспоминаниями...

Мишеля нет.

Неужели опять горе?

Вьюга бьет в стекла.

Старость тянется гораздо дольше чем молодость.

Откуда-то дует.

Кругом жуткая тишина...

И заснуть невозможно!

Старость, старость... Неужели одинокая старость?

Лермонтова поместили в одну из комнат верхнего этажа здания Главного штаба как офицера, а Раевского отвезли на гауптвахту у Сенной площади.

Если бы не бабушка, это было бы даже интересно. Во всяком случае что-то новое.

Голые стены, в углу — лампада. За дверями ходит часовой — единственный звук, который доходит сюда.

Уже вечер. За окном темно. Видно только, что идет сильний снег — метель.

Шаги часового затихли. Стукнуло ружье о пол. Он, верно, засыпает. Какой-нибудь простой русский парень, которому до смерти надоели эта служба и эта жизнь.

Всем надоело, а терпят, молчат.

Эх, Россия, Россия!

Вот еще какой-то звук... Кто-то поет тоскливо, точно плачет. Это в соседней комнате, за стеной. Верно, тоже арестованный.

Лермонтов постучал. Пение прекратилось. Он постучал еще раз, но за дверью опять стукнуло ружье, загудели шаги часового: раз—два, раз—два, раз—два...

А за окном гудит вьюга...

Заняться бы стихами, но как? Ни бумаги, ни карандаша.

В карцере, в юнкерской школе, он пи-

сал записки и стихи с помощью печной сажи, вина и спички. Надо будет это устроить, а пока сочинять так, на память.

Раз—два, раз—два, раз—два, раз—два...

«Одинок я — нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнем;
Только слышно: за дверями
Звучно-мерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой».

Лермонтова допрашивали дважды и велели написать свои показания.

Дело оборачивалось серьезно.

Лермонтов начал прямо со смерти Пушкина и с толков о ней.

Как мучительно, как грустно писать об этом для жандармов, для тех самых жандармов, которые и довели Пушкина до этой несчастной дуэли! Но мое будущее, бабушка... «Чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом!»—вспоминал он слова Пушкина.

А жандармы ждут. Ну, ладно! Валяй, Мишель, во-всю!

Дело росло, росло усердие, росли чины, росли расходы.

А над головами корнета Лермонтова и губернского секретаря Раевского нависли тучи.

25 февраля 1837 года в канцелярии военного министра была уже подписана министром графом Чернышевым и дежурным генералом Клейнмихелем бумага за № 100 о переводе «лейбгвардии гусарского полка корнета Лермонтова... тем же чином в Нижегородский драгунский полк» и о ссылке Раевского в Олонецкую губернию «для употребления на службу».

Бенкендорфу давно надоела эта история: из-за этого беспокойного мальчишки он уже целый месяц не имеет покоя! Старуха ходит чуть не каждый день и ревет. Он велел не принимать ее больше.

Бенкендорф еще раз прочитал бумагу, полюбовался замысловатой подписью Клейнмихеля и написал сбоку размашистым и решительным почерком одно слово: «Убрать».

И подчеркнул: «*Убрать*».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Высочайший приказ был так сформулирован, что в отношении к Лермонтову казался необыкновенно милостивым: в Нижегородский драгунский полк тем же чином, больше ничего. Был гусаром, стал драгуном. Только что «лейбгвардия» отпала. Ну, это уж не такое несчастье.

Но для человека, понимавшего в военных делах, приказ этот звучал иначе. Нижегородский драгунский полк стоял на Кавказе, в Грузии, и не просто стоял, а ходил в экспедиции против непокорных горцев под начальством генерала Вельяминова, жестокого «Кызыл-дженерала», как его называли горцы.

Это была ссылка на «потибельный Кавказ», а вовсе не в Нижний-Новгород, как можно было подумать. Это была очень серьезная ссылка, с расчетом на то, что оттуда без особенных усилий можно попасть и дальше, гораздо дальше.

Но Лермонтов не горевал бы, если бы не бабушка. Старуха совсем измучилась и сбилась с ног, бегая по жандармам: и к Бенкендорфу, и к Дуббельту, и еще к кому-то. Домой она возвращалась вся в слезах: никто не мог помочь. Она добилась только одного: сначала было приказано, чтобы Лермонтов выехал в 48 часов—время, необходимое для изготовления новой формы; бабушка выхлопотала отсрочку.

Портной, узнав об отсрочке, отложил шитье: ему нужно было срочно шить для одного гусара лейбгвардии, эта работа поважнее и подоходнее будет чем нижегородская. Близится пасха, пойдут балы. А корнету Лермонтову не на бал ехать, поспеет!

А между тем корнету Лермонтову надо было просто выйти на улицу, кое с кем повидаться, кое-что купить и себе и бабушке, узнать о Раевском. Придется рискнуть надеть прежнюю «лейбгвардию», авось никто из начальства не попадется навстречу.

Лермонтов облачился в прежнюю форму и поехал.

Проезжая по Невскому проспекту, он ве-

лел остановиться у английского магазина. Кажется, никого такого нет. Он открыл входную дверь. Прямо на него шел великий князь Михаил Павлович. Спрятаться было некуда. Он вытянулся, авось не узнает!

Но Михаил Павлович остановился, пристально посмотрел и нахмурился:

— Это что? Почему на тебе эта форма?

— Ваше высочество! Портной задерживает, а мне необходимо бы выехать.

— Изволь поторопить портного, а то он, небось, тоже стишки сочиняет? Чтоб сегодня было готово!

— Слушаю, ваше высочество! Сегодня же будет.

— Значит, будет готово?

— Я сделаю невозможное возможным.

Михаил Павлович улыбнулся: ответ понравился.

Он велел ехать в Измайловский полк. Кучер проехал по Невскому, через Аничков мост и свернул направо, по Фонтанке. У самого Чернышева моста, от Садовой улицы, вперерез стрелой пронеслись сани, в которых сидел офицер в форме Нижегородского драгунского полка. Лица Михаил Павлович не успел разглядеть, но он прекрасно знал, что во всем Петербурге сейчас нет ни одного Нижегородского драгуна, кроме Лермонтова, у которого еще не готова форма.

— Догнать эту баранью шапку!—крикнул он кучеру.

Но как ни старался кучер, ничего не вышло: драгун свернул и скрылся из глаз.

Приехав в полк, Михаил Павлович велел послать на квартиру к Лермонтову и узнать, готова ли его форма.

Измайловец вернулся и доложил, что форма готова и что пролетевший на лихаче драгун и был корнет Лермонтов. Прямо из английского магазина он помчался к портному и, напугав его, заставил в один момент окончить шитье. Он просит извинения, что не заметил саней великого князя и не остановился, чтобы показаться в новой форме.

Лермонтов был на Кавказе еще в детстве. Его возили на воды лечиться, и тогда Кавказ поразил его своей величественной красотой.
Эта картина написана Лермонтовым в 1839 г., после ссылки на Кавказ. Называется она „Воспоминания о Кавказе"

— Молодец!—сказал Михаил Павлович и подумал: «Такого исполнительного офицера надо было бы простить. Что стишки! Это, в конце концов, не военная провинность. Да и все уже забыли про эти стишки!»

А между тем на квартире у «исполнительного офицера» Лермонтова был шум и смех.

Только что Лермонтов, потеряв надежду на портного, надел «лейбгвардию» и поехал по делам, как портной явился с драгунской формой. А вслед за ним приехал навестить бедного Мишеля его старый приятель, шалун и весельчак Костя Булгаков. Видит—висит новая форма: шинель, куртка с кушаком, шаровары, шашка на портупее через плечо и высокая баранья шапка с огромным козырьком.

Он примерил все это обмундирование на свою короткую, толстую фигуру и посмотрелся в зеркало — вид очень воинственный и чрезвычайно к лицу!

«Прокачусь и заеду на минутку к Lise»,—подумал Булгаков и полетел. По дороге он увидел издалека сани великого

князя и велел кучеру пустить во всю прыть.

Лермонтов был уже дома, когда Костя явился. Они посмеялись: чуть не вышла новая история! Пришлось бы, пожалуй, шить еще одну драгунскую форму и ехать вместе. А что же, было бы не так плохо!

В это время прибыл измайловец от великого князя. Ему показали форму.

Инцидент был исчерпан.

В гостиных и столовых все еще обсуждали вопрос о Лермонтове и его стихотворении, а Лермонтов был уже в Москве, по дороге на Кавказ.

Прощай, Россия!

Свидимся ли?

ГЛАВА ПЯТАЯ

10 октября 1837 года состоялся в Тифлисе смотр четырем эскадронам Нижегородского драгунского полка.

Было тепло, солнечно, шумно, праздничноно. Город, казалось, ликовал, хотя ликование это было в самой природе, в одеждах, в обычном говоре пестрой толпы. Николай I смотрел на Тифлис с петербургской точки зрения и был уверен, что все это устроилось так по случаю его приезда. Он размяк и находил все отличным.

— Молодцы нижегородцы! — кричал он на смотру.

— Ади-аться ваш-лич!—орали ему в ответ нижегородцы.

Пошли пиры и праздники. Бенкендорф улучил удобный момент и напомнил ему о Лермонтове.

— Смотри: ты будешь за него отвечать, ходатай о поэтах,— пошутил Николай I.

— Очень старуха одолела, ваше величество! Да и Василий Андреевич просил.

— Дался вам этот Лермонтов! Михаил Павлович тоже говорил: «Исполнительный,—говорит,—офицер». А мне его морда не нравится. Ну, да бог с ним! В Новгород. В лейбгвардии Гродненский полк. Будет с него и этой милости!

— Слушаю, ваше величество!

11 октября был дан приказ о переводе Лермонтова из Нижегородского драгунского полка в лейбгвардии Гродненский гусарский полк тем же чином.

В Петербурге ничего не изменилось: та же сырость, тот же туман, те же сплетни. После Кавказа он казался еще более сумрачным, холодным, мертвым. Лермонтов не мог в первые дни отделаться от впечатления, что он именно теперь приехал на место ссылки.

А надо собираться в Новгород, где прибавятся еще несносные ученья и маневры. Не уйти ли в отставку? Многие гвардейцы, поступившие в полк одновременно с ним, уже ушли и живут себе спокойно. Но бабушка и слышать не хочет: она уверена, что добьется возвращения Мишеля в лейбгвардии Гусарский полк, в Царское село. Новгород—только промежуточная станция. Она не отстанет от Бенкендорфа, пока он не исполнит ее просьбы.

И действительно, старуха добилась своего. К старости Бенкендорф стал несколько сантиментален: бабушка изображала свое положение в таких трагических тонах, что он прослезился.

9 апреля 1838 года был подписан приказ о переводе.

Бабушка торжественно вынула из сундука прежнюю «лейбгвардию». Не даром она не позволила тогда Мишелю, как он хотел, отдать ее на сторону. Вот и пригодилась!

Под 1 января 1840 г. был обычный балмаскарад в Благородном собрании. Лермонтов пошел, но с каким-то странным предчувствием. Три года назад в этом самом зале ему показали Дантеса, а потом арест, ссылка и т. д. Что-то будет теперь?

Едва Лермонтов появился, как к нему стали подлетать маски одна за другой. Его дергали за рукава, шептали ему на ухо, тащили танцовать. Он мрачно отходил в сторону и прятался в толпе, они нагоняли его

и опять что-то пищали, о чем-то умоляли. Это было несносно!

Он прислонился к стене и сумрачно обводил глазами блестящее общество, собравшееся в зале. Ему вдруг вспомнилось детство: тихий, уютный дом, огромный сад, вдали село; вспомнились первые мечты о любви...

Мимо него проходили какие-то две важные дамы в домино: одна—в розовом, другая—в голубом. Толпа почтительно кланялась и расступалась перед ними: это были особы из царской фамилии.

Заметив Лермонтова, одна из них довольно громко сказала по-французски:

— Господин Лермонтов заметно скучает и даже не видит нас.

А другая прибавила:

— Ему не хватает черкешенок.

Лермонтов отделился от стены и двинулся к ним:

— Сударыни, я готов служить вам черкесом, если эта порода мужчин вам больше нравится.

Произошло замешательство. Дамы поспешили скрыться.

Лермонтов поехал домой. Он чувствовал страшное раздражение.

«Что им от меня надо? И зачем я верчусь в этом обществе?»

«О, как мне хочется смутить веселость их,
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..»

Стихотворение о новогоднем бале появилось в первой книжке «Отечественных записок» за 1840 год. Краевский, редактор журнала, узнав о происшествии в Благородном собрании, поторопился напечатать его, почти насильно вырвав у Лермонтова. Зато, действительно, книжку журнала читали нарасхват.

Дошла она и до Бенкендорфа. Он страшно возмутился: «Эдакий дерзкий мальчишка! Его простили, благосклонно допустили в высшее общество, а он опять взялся за нахальные стишки, вместо того чтобы служить! Нет, теперь я больше не стану слушать старуху, будь ей хоть все сто лет!»

Лермонтов все настойчивее думал об отставке. Он много писал и начал работать над романом. Ему советовали издать книжку стихотворений, и он начал подбирать их.

В феврале, на масленице, Лермонтова пригласили на бал к графине Лаваль. На этом балу должна быть княгиня Марья Алексеевна Щербатова, с которой Лермонтов недавно познакомился. Эта женщина казалась ему непохожей на обыкновенных светских дам. Она жаловалась ему на пустоту и скуку светской жизни, рассказывала об Украине, из которой она была родом, делилась своими мечтами и стремлениями. Лермонтов часто виделся с ней, и в свете прошел слух, что он собирается на ней жениться.

За Щербатовой ухаживал сын французского посланника Эрнест де Барант. Лермонтов негодовал и упрекал княгиню за то, что она допускает ухаживание со стороны этого французика, такого же искателя приключений и карьеры, каким был Дантес. Слова эти дошли до Барана. На балу у Лаваль Барант подошел к Лермонтову и заявил ему, что знает о словах, сказанных о нем:

— Если это правда, то вы поступили дурно и неблагородно и должны извиниться, взяв свои слова обратно.

— Я ни советов, ни выговоров не принимаю,—отвечал запальчиво Лермонтов,— и нахожу ваше поведение смешным.

Барант вспыхнул.

— Если бы я был в своем отечестве, то знал бы, как кончить дело.

— Поверьте, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде.

Тогда Барант вызвал Лермонтова на дуэль.

Дуэль была пустяшная. Противники начали ее на шпагах. У Лермонтова отломился конец шпаги, а Барант слегка оцарапал Лермонтову руку. Взялись за пистолеты. Выстрелили одновременно по счету «три». Барант промахнулся, а Лермонтов выстрелил, не целясь, в воздух.

счету «три». Барант промахнулся, а Лермонтовым следили, и о дуэли было сообщено, куда надо. Прошло несколько дней, и поручик лейбгвардии Гусарского полка Лермонтов оказался преданным военному суду и был посажен в Ордонансгауз, на углу Садовой и Инженерной.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В Ордонансгаузе Лермонтова навещал только двоюродный брат Шан-Гирей. Бабушка лежала в параличе.

Но однажды раскрылась дверь и в комнату нерешительно и смущенно вошел человек, которого Лермонтов никак не ожидал. Это был Белинский. Он внимательно следил за появлявшимися в печати стихами Лермонтова и был поражен силой и зрелостью таких вещей, как «Дума», «Поэт», «Не верь себе», «Дары Терека», «Памяти Одоевского», «И скучно и грустно», «Как часто, пестрою толпою окружен». Это была та самая «поэзия мысли», которую он ждал и на необходимости которой настаивал в своих статьях. Ему казалось, что это даже выше, значительнее Пушкина.

Узнав о новой «истории» Лермонтова и о его аресте, Белинский решил навестить его в Ордонансгаузе. Он добился разрешения и пришел.

Входя, Белинский совсем сконфузился: «Ну зачем меня принесла к нему нелегкая?—думал он.—Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его стеснять, он меня... Ну, побуду с четверть часа и уйду».

Но скоро завязался разговор о Вальтер Скотте, о Купере. Лермонтов воодушевился и вдруг сбросил с себя обычную личину светского пренебрежения и холодности. У него изменилось лицо, голос стал задушевным. Он говорил много и горячо.

Белинский слушал с изумлением и восторгом. Какой глубокий ум! Сколько эстетического чутья! Какая нежная и тонкая, поэтическая душа!

Лермонтов поделился и своими планами: он написал роман из современной жизни («Герой нашего времени»), а потом напишет еще два романа: из эпохи Екатерины II и из александровской эпохи.

Разговор, наконец, дошел и до самых главных, основных вопросов. Белинский стал намекать Лермонтову на то, что он должен войти в их круг, что он тот самый поэт, который нужен новому, передовому поколению. Белинский признался, что он пишет сейчас статью о стихах Лермонтова, что он признает его самым крупным современным поэтом, что будущее Лермонтова зависит от того, бросит ли он военную службу, уйдет ли от «света» и соединится ли с ними.

Лермонтов, выслушав горячую речь Белинского, грустно взглянул на него. Он заговорил, но в голосе его опять появились озлобление, недоверчивые и враждебные нотки. Но Белинский не сдавался. Он стал доказывать, что в самом его озлоблении чувствуются семена глубокой веры в достоинство жизни и людей и не надо заглушать эти семена.

Лермонтов горько улыбнулся и сказал:

— Дай бог!

На этом разговор окончился.

Военно-судебное дело о дуэли поручика Лермонтова с Барантом тянулось долго.

5 апреля 1840 года суд вынес решение— лишить Лермонтова чинов, дворянского достоинства и прав состояния и записать в рядовые. Это решение пошло по всяким инстанциям и вызвало споры.

Ознакомившись со всем материалом, Николай I вызвал Бенкендорфа:

— Ну, вот опять твой Лермонтов! Когда же это кончится?

— Я больше за него не ходатай, ваше величество! Он неблагодарный и дерзкий мальчишка и заслуживает сурового наказания. Лермонтова надо убрать. Очень жаль, что де Барант промахнулся.

— В рядовые?

Бенкендорф промолчал и вздохнул:

— Шум большой будет. Литераторы об'являют его выше Пушкина. Не послать ли его, ваше величество, на Кавказ, но только не просто так, а в бой, в Чечню, к генералу Галафееву и с соответствующей инструкцией? Там не промахнутся!— прибавил Бенкендорф с хитрой улыбкой.

Николай I взял перо и сделал надпись: «Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином».

— Милостиво?

— Очень милостиво, ваше величество!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В то время как в Петербурге, в типографии Ильи Глазунова, печатался роман «Герой нашего времени», а Белинский обдумывал большую статью о нем, автор этого романа, поручик Тенгинского полка, вторично совершал знакомый и уже надоевший путь к Ставрополю. Там была главная квартира командующего войсками кавказской линии. Оттуда его отправят в крепость Грозную, а из Грозной—в экспедицию против горцев.

Все экспедиции похожи одна на другую: с рассветом—генерал-марш, затем — по возам и, наконец — сбор и выступление. Впереди — авангард, в середине — обоз, на флангах—цепи стрелков с резервами, позади—арьергард.

Вступают в лес, начинается перестрелка. Неприятель наседает на арьергард. Отряд останавливается, выдвигаются орудия, пускается картечь, неприятель отступает. По пути сжигаются стога сена, скирды кукурузы и проса. Попадается селение— предается огню. Совершив такую прогулку, отряд возвращается в крепость Грозную до следующей экспедиции.

6 июля 1840 года галафеевский отряд выступил в Малую Чечню. На рассвете вышли из Грозной, перешли через реку Сунжу, прошли ущелье Хан-Кулу, подошли к деревне Большой Чечень, оставленной жителями. Кур поймали и сварили, а деревню сожгли и поля истребили.

Отдохнули и двинулись дальше. Дошли до деревни Луду-Юрт. Кур поймали, а деревню сожгли и поля истребили.

Дальше, деревня Чах-Герн. Тут уже появились горцы. Пустили в дело орудия. Горцы, потерпев потерю, удалились. Солдаты поймали кур и сожгли деревню, а поля истребили.

Так дошли до деревни Гехи, сжигая по пути селения и истребляя посевы.

Было уже темно. Ловить кур было трудно. Деревню сожгли, посевы истребили и расположились лагерем на ночлег.

Утром выступили дальше. Дошли до леса. У самого леса дорогу пересекает речка Валерик в глубоких, отвесных берегах. Там, в лесу, наверное, спрятались чеченцы. На всякий случай открыли огонь. Ни одного ответного выстрела и ни малейшего движения. Отряд двинулся вперед.

Вдруг страшный огонь и крики со всех сторон. Отряд остановился, но полковник обскакал ряды и, угрожая пистолетом, орал: «Вперед, ура!» Двинулись вперед, перебрались через речку по грудь в воде и сошлись с чеченцами лицом к лицу. Начался рукопашный бой. Люди превратились в зверей. Убитых бросали в реку. Пахло кровью. Вода в реке стала мутной и красноватой.

Лермонтов остался жив и был представлен к награде. Награды не дали. Ответ был такой: «Высочайше повелено поручиков, подпоручиков и прапорщиков за сражения удостаивать к монаршему благоволению, а к другим наградам представлять за особенно отличные подвиги».

«Судьбе как турок иль татарин
За все я равно благодарен;
У бога счастья не прошу,
И молча зло переношу».

В октябре была вторая прогулка в те же места. У Валерика опять завязалось сражение. Лермонтов шел рядом со своим новым приятелем, декабристом Лихаревым. Они так привыкли к свисту пуль, что,

Казак в горах. Лошадь его испугана и рвется. Этот рисунок Лермонтов сделал во время кавказских походов

не обращая на них внимания, вели разговор.

Они остановились и заспорили. Лихарев доказывал, что Кавказ нужен России для торговли и еще для чего-то и приводил стихи из «Кавказского пленника» Пушкина:

«Но се Восток под'емлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ, — идет Ермолов!»

Лермонтов не соглашался и возражал:

— Пушкин был тогда молод и повторял чужие слова. А ты читал «Путешествие в Арзрум»? Там совсем другое. А ты знаешь, что Пушкин хотел бежать? Нет, брат! Нам не Кавказ нужен, а...

Вдруг Лихарев схватил его за руку и упал.

Он был убит. Пуля попала в спину. Кучка горцев бежала к ним, отставшим от других.

Лермонтов кинулся всторону. Пуля просвистела мимо.

Горцы бросились на труп Лихарева и изрубили его в куски.

После этого Лермонтов повел отчаянную жизнь. Он собрал шайку головорезов, «Лермонтовский отряд», и повел партизанскую войну. Не слушая никаких приказаний и распоряжений, не признавая огнестрельного оружия, они врезывались в неприятельские аулы и наводили страх на горцев. В расстегнутом сюртуке без эполет, из-под которого виднелась красная канаусовая рубашка, в молодецки заломленной белой холщевой шапке, на белом как снег коне Лермонтов казался каким-то диким атаманом.

Начальство махнуло на него рукой и предоставило ему действовать самостоятельно.

Как это ни было странно, пули горцев не брали его и пролетали мимо.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В Петербург все время приходили донесения о необыкновенной храбрости и распорядительности поручика Лермонтова. Николай I читал и хмурился: «Эк, везет молодцу! И пуля его не берет!»

В декабре пришел наградной список. О Лермонтове говорилось: «Поручик Лермонтов явил новый опыт хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятельской, из которой малая часть только обязана спасением быстроте лошадей, а остальная уничтожена. Отличная служба поручика Лермонтова и распорядительность во всех случаях достойны особенного внимания и доставили ему честь быть принятым г. командующим войсками в число офицеров при его превосходительстве, находившихся во время экспедиции в Большой Чечне с 9-го по 20-е число ноября».

На этом списке командующий кавалерией левого фланга, полковник князь Голицын сделал пометку: «К золотой сабле за храбрость».

Министру был послан самый лестный отзыв, и в начале января Лермонтов получил 28-дневный отпуск в Петербург.

Лермонтова встретили восторженно и даже несколько торжественно как автора «Героя нашего времени» и сборника «Стихотворений». В первый же день он получил ряд приглашений в разные дома. Все выразили надежду, что он останется совсем.

На другой же день по приезде он поехал к графине Воронцовой-Дашковой, где должны были быть писатель Соллогуб и другие лица. Оказалось, что у нее бал (дело было на масленице) и будет сам великий князь Михаил Павлович. Лермонтов думал отретироваться[1], но хозяйка не пускала и обещала поговорить с «его высочеством» о прощении.

Среди блестящего общества, собравшегося у Воронцовой, Лермонтов, одетый в армейский мундир с короткими фалдами, выглядел странно. Приехавший на бал Михаил Павлович, увидев Лермонтова, принял грозный вид: опальный офицер, отбывающий наказание, смеет являться на бал и танцовать в его присутствии! Это неслыханная дерзость.

Заметив сердитый взгляд Михаила Павловича, хозяйка увела Лермонтова во внутренние комнаты и через задний ход выпустила на улицу.

---

[1] Отретироваться — отступить, отойти.

Все хлопоты о прощении оказались напрасными: Бенкендорф не хотел и слушать, Клейнмихель считал, что время еще не пришло. Попробовали заговорить об отставке, но и это не прошло: поручик Лермонтов отбывает наказание, а не просто служит.

Бабушка выхлопотала отсрочку от'езда, но прежде чем наступил окончательный срок, Лермонтова вдруг разбудили рано утром: Клейнмихель приказал покинуть столицу в 24 часа и ехать в полк.

Лермонтов едва успел попрощаться с друзьями. Он был грустен и говорил о смерти.

На другой день он выехал из Петербурга вместе со своим другом Алексеем Аркадьевичем Столыпиным, который тоже приезжал с Кавказа в отпуск. Это был брат того Столыпина, с которым Лермонтов поссорился из-за стихов на смерть Пушкина. Он возвращался на Кавказ из отпуска, и ему было поручено доставить Лермонтова в отряд.

Весна была вразгаре. Вот уже кончаются степи, скоро покажутся горы.

Лермонтову вдруг стало весело.

— Послушай, Столыпин! Поедем в Пятигорск, — предложил Лермонтов, когда они приехали в Георгиевск.

До Пятигорска было верст сорок.

— Помилуй, мне же велено ехать прямо в отряд и везти тебя.

— А я заболел, и ты привез меня едва живого в Пятигорск. Вот и все. Столыпин, едем в Пятигорск! — повторил он повелительным тоном.

Столыпин колебался.

Лермонтов вынул из кармана кошелек и взял монету:

— Бросаю полтинник. Если упадет кверху орлом, едем в отряд, если решкой, — в Пятигорск.

Столыпин молча кивнул головой.

Полтинник упал решкой вверх.

— В Пятигорск, в Пятигорск!—радостно закричал Лермонтов. — Лошадей!

Лил страшный дождь, но это не остановило его. Он был в каком-то приподнятом, возбужденном состоянии: говорил, пел, махал фуражкой, приветствуя горы.

В Пятигорск приехали промокшими до костей и остановились в гостинице армянина Найтаки, на бульваре. Лермонтов переоделся в шолковый темнозеленый халат с толстым шнурком. Он вышел поговорить с хозяином, узнать, кто из знакомых в Пятигорске.

Через несколько минут он вернулся в комнату такой же веселый.

— Знаешь, Столыпин? И Мартынов здесь! Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним. Поживем недельки две, повеселимся — и в отряд, заслуживать отставку. Вели принести вина!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На другой день Лермонтов достал у знакомого доктора медицинское свидетельство о болезни, а с этим свидетельством разрешение задержаться в Пятигорске для лечения.

Началась веселая пятигорская жизнь. Кого-кого тут только не было! Даже брат Пушкина, Лев Сергеевич, оказался здесь. Рядом — дом Верзилиных, где и в прежние годы Лермонтов проводил много времени, ухаживая за барышнями, танцуя, играя в карты. Каждый день либо бал, либо два бала, либо карты, либо прогулка.

Но скоро общество раскололось на две партии, которые стали враждовать между собой. В одной был Лермонтов и его приятели — «лермонтовская банда», как их прозвали. Во главе другой партии стоял князь Васильчиков. Это была «аристократическая» партия. Мартынов не примыкал ни к той, ни к другой, дружа и с Лермонтовым и с Васильчиковым.

Вражда обострялась. Если Лермонтов устраивал бал, «аристократы» не являлись, а потом распускали всяческие слухи о безобразных выходках Лермонтова. Лермонтов отвечал остротами, насмешками и эпиграммами. Особенно доставалось Васильчикову. Чуть не каждый день появлялись новые прозвища и эпиграммы:

«Князь Ксандр», «Умник», «Шеф», «Простофиля» и т. д.

Васильчиков сердился, но делал вид, что не обращает внимания. Он, наконец, даже написал в Петербург, что Лермонтов, вместо того чтобы ехать в отряд, болтается в Пятигорске, ко всем пристает, говорит дерзости. Нельзя ли, мол, сделать распоряжение?

Но прежде чем последовало распоряжение свыше, история завершилась неожиданным финалом.

Лермонтов дразнил не только Васильчикова, но, по старой привычке, и Мартынова. Мартынов был вспыльчив, но быстро отходил и не хотел ссориться с Лермонтовым. Подуется — и помирится.

Васильчиков всячески перетягивал Мартынова на свою сторону и убеждал его порвать с Лермонтовым.

— Он тебя и мартышкой называет, и дикарем, и смеется над твоим кинжалом и над твоей черкеской — и все это в обществе, при дамах. Почему ты сносишь все это? Надо его проучить.

Видя, что Мартынов колеблется, Васильчиков стал уговаривать другого, Лисаневича, который ухаживал за одной из Верзилиных и тоже подвертался насмешкам Лермонтова. При встрече с ним Васильчиков говорил ему, что честь офицера не допускает терпеть такие насмешки и что он должен вызвать Лермонтова на дуэль. Но Лисаневич решительно отказывался:

— Что вы! Чтоб у меня поднялась рука на такого человека! Вызывайте сами!

Лермонтов узнал об этих проделках Васильчикова и усилил свои нападки.

Пятигорск превратился в какой-то лагерь, в котором кипела вражда мелких страстей.

---

12 июля Мартынов, оскорбленный Лермонтовым в доме Верзилиных, вызвал его на дуэль.

Дуэль состоялась 15 июля у подножия горы Машук. Секундантами Мартынова были Васильчиков и Глебов, секундантами Лермонтова — Столыпин и Трубецкой.

К 5 часам вечера приехали на место.

По условию, каждый имел право стрелять, когда ему угодно, стоя на месте или подходя к барьеру. Барьер был отмерен в 15 шагов, а от него в каждую сторону — еще по 10.

Мартынов и Лермонтов стояли на крайних точках.

Лермонтов, повернувшись правым боком, заслонившись рукой и держа пистолет на полном прицеле, стал медленно подвигаться к барьеру, но не стрелял.

Васильчиков сделал какой-то знак Мартынову.

Мартынов крупными быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил.

Лермонтов упал как подкошенный.

До 11 часов ночи тело Лермонтова лежало на том же месте. Разразился такой ливень с грозой, что извозчики отказывались ехать.

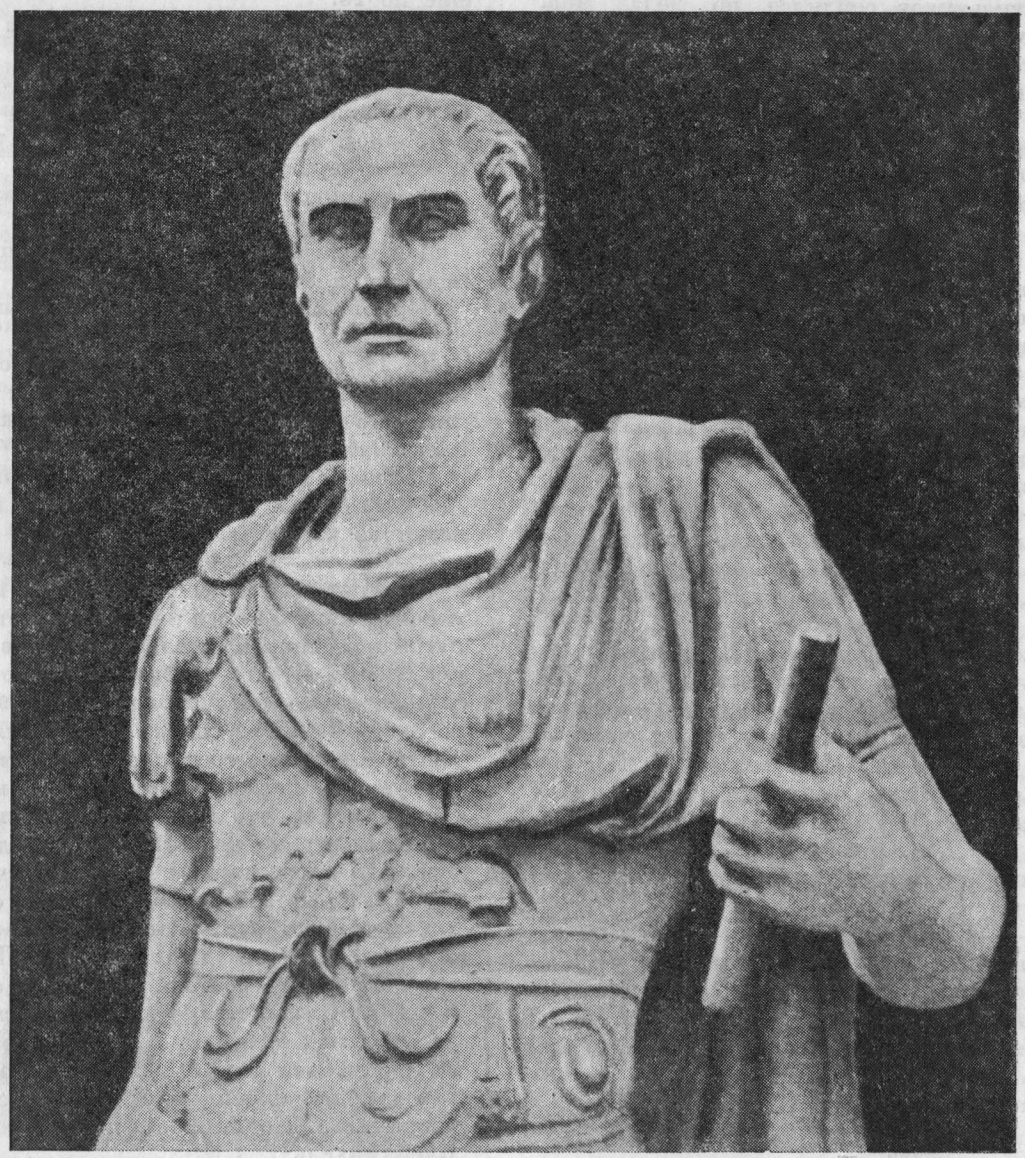
Наконец, нашли извозчика, который согласился. Тело уложили на дроги и привезли на квартиру.

Уже после смерти Лермонтова в Тенгинский полк пришел запоздалый ответ на наградной список, посланный еще в декабре. В этом ответе сообщалось: «Государь император по рассмотрению доставленного о сем офицере списка не изволили изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую ему награду. При сем его величество, заметив, что поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен в экспедиции с особо порученною ему казачьей командою, повелеть соизволил сообщить вам, милостивый государь, о подтверждении, дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку. О таковой монаршей воле имею честь вас уведомить. Подлинное подписал граф Клейнмихель».

Приказания «его величества» исполнить не удалось: Лермонтов удалился от фронтовой службы так далеко, что вернуть его было невозможно.

Узнав об этом, Николай I не рассердился. Облегченно вздохнув, он подписал 12 августа 1841 года новый приказ по пехоте: «Умерший Тенгинского полка поручик Лермонтов исключается из списков».

□ □ □



Триумф Юлия Цезаря

Римляне говорили, что для воина оружие то же, что и части его тела. Тяжелы же были эти добавочные руки и ноги! Одно копье и щит, железный или деревянный, обтянутый кожей, весили столько, что не всякая рука могла их поднять. А для защиты от вражеских стрел воин надевал на грудь железный или кожаный панцырь, на голову — железный шлем с пучком перьев, и на ноги — железные голенища. Кроме оружия они брали с собой только запас хлеба и личные вещи, туго связанные в пакеты. Их носили на длинном шесте, раздвоенном сверху как рогатка.

Одет же был римский воин совсем легко: в рубаху до колен, тунику и сандалии на голые ноги. Хорошо было ходить так

римлянам у себя дома — в Италии. Там не знают настоящих холодов. А римские легионы не раз уходили на север. Солдаты терпели и стужу на высотах Альп и промозглую сырость в северной Галлии и Британии. Разве мог спасти от холода короткий плащ из грубого сукна?

Во время галльских походов солдаты научились носить длинные штаны. Это была одежда «варваров». Римлянин относился к ней с презрением, но север заставил его учиться и у «варваров».

Закованные в железо, таская на себе 50 килограммов поклажи, римские воины прошли весь мир, известный тогда европейцам. Это были сильные, мужественные и по-волчьи алчные люди. Крохотному римскому государству, занимавшему лишь часть Аппенинского полуострова, они завоевали почти всю Западную Европу, Северную Африку и Малую Азию.

Наши географические карты пестры, словно они сшиты из разноцветных лоскутов. Каждый цвет означает какую-нибудь страну. 2000 лет назад географическая карта могла иметь только два цвета: белый — для обозначения неизвестных земель, и второй цвет — для владений Рима.

Весь известный Риму мир был его добычей. Каждую завоеванную область сперва грабили войска-победители. Потом она поступала во временное управление и ограбление римских правителей и в вечную собственность Рима.

Укрепившись в новом месте, римские войска прежде всего строили дороги. Это были мощные и долговечные сооружения из нескольких слоев камня, бетона и гравия. Некоторые из них сохранились до наших времен.

Историки говорят, что эти дороги, если бы их вытянуть по земле одну за другой, дважды опоясали бы земной шар. И все эти дороги вели в Рим или к гаваням, куда приходили римские корабли.

По этим дорогам римские легионы уходили в дальние походы, по ним мчалась государственная почта и по ним тянулись обозы, свозившие в Рим дань, собранную с покоренных народов.

После победоносных походов легионы возвращались по этим дорогам, таща за собой награбленную добычу и тысячи пленников. Тут были воины, одетые в кожи и звериные шкуры, их вожди и цари, юноши, женщины и дети. В Риме на спинах и плечах каждого из пленников выжигалось клеймо, и они на всю жизнь становились рабами.

Не удивительно, что Рим — поработитель мира — никого не прославлял так, как своих полководцев. И среди всех полководцев Рим считал самым великим Кая Юлия Цезаря.

В течение 16 лет беспрерывных войн Цезарь вел свои легионы по Европе, Африке и Малой Азии, расширяя пределы римского государства. Он знал и победы и поражения, но все его большие походы заканчивались удачей. После одной победы в Малой Азии, Цезарь послал в Рим сообщение на своем кратком и точном языке: «Пришел, увидел, победил».

Точен и краток был Цезарь и в своих книгах. Его «Записки о галльской войне» — одна из самых замечательных книг древности.

Рассказывают, что эти «Записки» Цезарь писал во время походов. Дорожа временем, он диктовал и в пути, переезжая с места на место. Своих рабов он приучил писать на ходу, а себя — диктовать одновременно по два донесения.

Войско Цезаря, одержавшее столько побед, никогда не было велико. Его противники не раз могли задушить его численностью, но Цезарь был умелый полководец, а его войско—дисциплинировано, хорошо обучено и организовано.

В один из опаснейших моментов галльской войны Цезарь оказался в ловушке с 30 тысяч воинов против 250 тысяч галлов.

Он осаждал тогда крепость Алезию, где заперся вождь галлов Верцингеторикс со своим войском. На помощь Верцингеториксу галльские племена собрали большое войско. Они могли выставить больше 200 тысяч воинов. Цезарь знал об этом. Помощи ждать было неоткуда. И все же Цезарь не ушел. Он не только продолжал осаду, но и сам принялся возводить укрепления, чтобы отгородиться и от крепости и от войска, шедшего к ней на помощь.

10 тысяч солдат работало без устали целый месяц. Когда галльское войско подошло, оно увидело между собой и Алезией стены, рвы и бастионы цезаревых укреплений.

Галлы бросились на приступ с двух сторон: с одной стороны свежее войско, с другой—вышедший из крепости Верцингеторикс. Семь дней шла кровавая битва. Римляне, стиснутые с двух сторон, не

только отражали один удар за другим, но не давали галлам соединиться.

Римляне называли галлов варварами. Многие галльские племена еще вели кочевой образ жизни. Они жили скотоводством, охотой и войной. Воины их были сильны и храбры, но лишены римской организации и техники. 200-тысячное войско, подошедшее к Алезии, представляло беспорядочную орду, лишенную умелых вождей. После семидневных боев оно разбежалось, оставив в руках римлян много пленных и богатую добычу. А вслед за их бегством сдался и Верцингеторикс.

Так кончилась одна из самых грозных для Рима войн в Галлии.

Рим тогда узнал и прославил военный гений Цезаря.

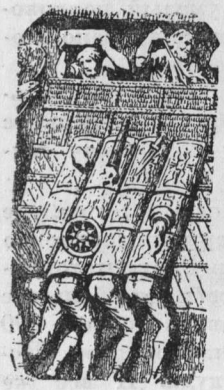
В 46-м году, когда он возвратился из длительных походов и после многих побед, Рим встретил его невиданными почестями.

Когда римские полководцы возвращались с большой победой, они «получали», как тогда говорили, «триумф». Это было самой большой почестью для полководца. Редко кто праздновал два «триумфа» за всю свою жизнь. А Цезарь в 46-году «получил» сразу четыре «триумфа».

Это означало, что четыре раза подряд он совершал свой в'езд в Рим в великолепной колеснице, украшенной золотом, слоновой костью и драгоценными камнями. В правой руке он держал лавровую ветвь, а в левой — скипетр, увенчанный орлом.

Перед колесницей несли трофеи и гнали пленных, закованных в цепи, а позади шествовали воины Цезаря с лавровыми венками на головах, восхищенные «триумфом», возвращением домой и привезенной богатой добычей. Для их угощения римляне выставляли перед домами всякие яства и вина. Воины ели, пили и горланили свои воинственные песни.

Боевая черепаха



Когда римские солдаты шли на приступ, они строились «черепахой»: ряды плотно смыкались, первая шеренга выставляла щиты вперед, а задние поднимали их над головами.

За такой стеной из щитов и под такой верной крышей солдаты чувствовали себя так уверенно, как черепаха под своим панцырем.

У стены осажденной крепости один отряд становился на крышу из щитов другого отряда — так образовывалась двойная «черепаха».

Месяц Цезаря

Седьмой месяц нашего календаря (июль) носит второе имя Кая Юлия Цезаря — создателя этого календаря.

До Цезаря римский год делился сперва на десять, а потом на двенадцать месяцев, а каждый месяц начинался с новолуния.

О наступлении нового месяца главный жрец торжественно об'являл с башни, специально построенной на Капитолийском холме.

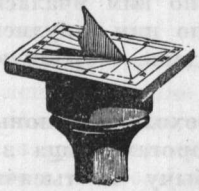
Этот лунный год имел 354 дня. Чтобы уравнять его с солнечным годом, римляне стали вводить каждые два года по дополнительному месяцу. От этого все месяцы передвинулись и происходила необычайная путаница.

Сложной системой древнего календаря распоряжались жрецы, от их произвола зависела передвижка месяцев и дней.

Богатые римляне часто подкупали жрецов и добивались сокращения года, чтобы приблизить сроки получения долгов.

Чтобы прекратить всю эту путаницу, Кай Юлий Цезарь ввел в 46 году до нашей эры новый твердый календарь, существующий до сих пор.

Который час?



Римлянин на вопрос «Который час?» отвечал «Час петушиного крика», или «Час утасания солнца», или «Середина дня» и т. д.

День делился у них на двенадцать частей, и каждая часть имела свое особое наименование.

В городе о наступлении каждого отрезка дня об'являл глашатай, а в домах рабы докладывали об этом своим господам.

Римская ночь распадалась на четыре отрезка, по числу смен караула у городских ворот. О ночном времени говорили: первая, вторая, третья или четвертая стража. Третья стража начиналась в полночь.

До появления часов (сперва солнечных, потом водяных и песочных) римляне определяли время по величине отбрасываемой на солнечном свету тени, а ночью—по высоте звезд. В пасмурные дни о времени можно было только догадываться.

Географические сказки

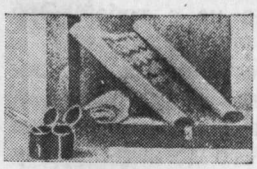
Римский писатель Лукреций рассказывал, что тысячи слонов с руками ввиде змей так плотно окружают Индию, что нет возможности проникнуть в глубь страны. А сама Индия—счастливейшая страна, где текут реки из молока, меда, масла и вина.

Римляне знали только Европу, да и то не всю, Малую Азию и Северную Африку. О землях, лежащих за этими пределами, рассказывали самые невероятные небылицы.

Крайний Север римляне считали пределом мира. По словам Тацита, солнце там «подходит совсем близко к земле, и когда оно встает из моря, слышен плеск воды».

Еще фантастичней были рассказы о людях, населяющих неведомые страны. Сказания эти, приукрашенные новым вымыслом, перешли от римлян к средневековью. Географы того времени поместили где-то в Азии людей с ушами, такими громадными, что на ночь в них заворачивались, как в плащ. Другое племя отрастило себе такие громадные губы, что закрывалось ими как зонтиком от палящего солнца.

Книги, книгопродавцы и библиотеки



Книги римлян раскручивались, а не раскрывались, как наши. Их писали на бумаге, изготовленной из папируса — растения, росшего в Египте, по берегам Нила. Кожицу этого растения разрезали на тонкие пластинки и затем склеивали длинной лентой. На таких лентах из папируса и писались книги.

Получив от писателя папирусную рукопись, книгопродавец нанимал для переписки хорошо трамотных рабов. Один из них читал, а остальные писали под его диктовку. Для письма служила только одна сторона ленты, вторую покрывали особым составом для предохранения от порчи.

Готовую книгу накручивали на деревянную или костяную палочку. А переплетом служил футляр из свиной кожи.

Книг в Риме продавалось много. Была даже улица, прославленная своими книжными лавками.

Богатые и образованные римляне гордились своими обширными библиотеками. В одной из таких библиотек, открытой при раскопках в Помпее, нашли 1700 папирусных книг.

Промысел гражданина Красса

Обыкновенный, не знающий никакого ремесла раб стоил в Риме тысяч семь сестерций (около 600 рублей). За умелого раба платили гораздо дороже. Рабами были в Риме очень многие врачи, архитекторы, скульпторы, музыканты, купцы, ремесленники. Замечательные римские здания, статуи, картины были созданы рабами.

Богач Красс, живший во времена Цезаря, нажил громадное состояние особым промыслом: он скупал по дешовке неумелых рабов, обучал их какому-нибудь ремеслу и продавал с большой прибылью.

Лошадь в сенате

Чтобы унизить сенат — высшее государственное учреждение Рима, — император Калигула назначил сенатором свою лошадь. Ее нарядили в тогу с пурпурной каймой — почетную одежду сенаторов, ввели в зал и усадили в кресло. Сенаторы подчинились своему сумасшедшему императору и обсуждали государственные дела вместе с лошадью.

Неизвестно, как участвовала лошадь-сенатор в прениях, но при каждом ее ржании Калигула восклицал: «Наконец-то, я слышу умное слово!»

ТЕОДОР ПЛИВЬЕ

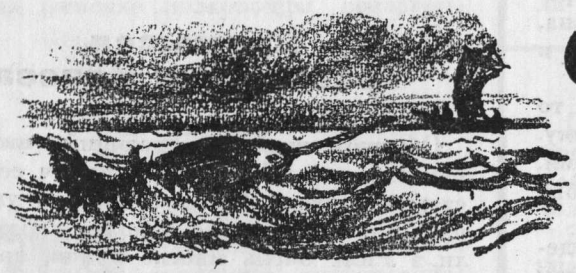
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АТАХУАЛЬПЕ

повесть

Перевод с немецкого

Рис. В. Цельмера

(Продолжение)



Охота на нарвала

Ачассо спрыгнул в лоцманский бот.

— Отваливай! — крикнул он рулевому. Тот повиновался, тем более что стоять вплотную к парусни́ку было небезопасно. Когда бот отчалил, Ачассо перерезал веревку.

— Что ты делаешь? — крикнул один из сидевших в боте.

Второй рыбак, постарше, не растерялся и крикнул:

— Эй, на парусни́ке!..

Но крик его потонул в пространстве, и парусник проплыл мимо. Через несколько минут бот плыл один в беспредельном морском просторе, а «Кап Финистерре» со своими белыми парусами вырисовывался в темноте, как призрак.

Ачассо подобрал упавший в воду конец — это был лишь жалкий остаток прекрасной веревки; более длинный конец ее остался у парусника.

— Хорошая веревка! — сказал он. — Вот вам за нее куртку.

— На чорта мне твоя куртка! — сердито огрызнулся рыбак.

Ачассо посмотрел на него. Это был грузный человек с широкими плечами и грудью. Голова его, почти лишенная шеи, начиналась сразу над мощным туловищем. На затылке росла целая грива волос. Помощник называл его Пингвином.

— Взял бы ты все-таки куртку, Пингвин!

Но рыбак не слушал его.

— Что это за шутки!

— Какого чорта! Мне совсем не до шуток, — ответил Ачассо. — Мне необходимо убраться подальше, прежде чем парусник доберется до гавани. Лоцман приказал вам отплывать. Я чуть было не забыл сказать вам об этом.

— Отплывать! Только не с тобой. Это не пройдет!

— А почему бы и нет? Потом вы расскажете, как было дело. Можете прибавить, что хотели ссадить меня обратно на парусник, но не могли его догнать. Этому всякий поверит.

— Все-таки это не пройдет!

— А почему?—полюбопытствовал Ачас-

со. Но тут же, бросив взгляд на дно лодки, понял, в чем дело. На дне лежали гарпуны, веревки и крючья, готовые для рыбной ловли. — Ага, вот что, у вас с собой снасти!

— Да, поэтому... Мы собирались на ловлю. Лоцман — это только побочный заработок, без него нам тоже не обойтись.

— Верю.

— А зачем тебе понадобилось удрать с парусника?

— Нельзя было иначе. Однако вам не стоит из-за меня зря время терять. Если вы собрались на ловлю, берите меня с собой.

— Это не так просто.

Для Ачассо было вполне понятно, почему это не так просто: он знал, что рыбаки этого побережья ловят рыбу запрещенным способом — при помощи динамита.

— На мой счет можете не беспокоиться, — сказал он. Они могли понимать это как угодно. После некоторого колебания они согласились взять Ачассо с собой: больше им ничего не оставалось делать — иначе они теряли целую ночь.

Пингвин подобрал шкот, и бот переменил курс.

— Много лет уж, как я тут не бывал,— сказал Ачассо, чтобы завязать разговор. Потом он взглянул на «Кап Финистерре», силуэт которого маячил вдали на светлом фоне ночного неба, и прибавил: — Я ведь зайцем попал на парусник. Этот «Кап Финистерре» — просто дырявое корыто. Экипаж — неполный, кормежка — дрянь. Ну, со шкипером я не поладил. А почему, догадаться не трудно.

Однако рыбак о своих догадках помалкивал.

— А как у вас тут дела? — снова заговорил Ачассо.

— Да вот ловим рыбу... Время тяжелое, как и везде, — ответил рыбак и тотчас же сжал губы, как бы спохватившись, что сказал больше чем нужно.

— Я тут тоже когда-то рыбачил вместе с Антонио... — сказал Ачассо, немного помолчав. — Что, еще жив старик Антонио?

Рыбак не ответил, его помощник тоже молчал. Так сидели все трое в узком боте. Журчала вода. Наконец, часа через два перед ними показалась голубая дымка берега. Ветер полегчал, и Ачассо показалось, будто с берега пахнуло знакомым ему теплым дыханием раскаленной пустыни и скал.

Рыбаки стали спускать в воду снасти. Перед рассветом они их вытащили. Улов, оказалось, был довольно неважный: когда все веревки были собраны, в садке для рыбы лежало не больше дюжины розовых конгрио с мягкими скользкими животами. На многих крюках торчали лишь головы— все остальное было откусано острыми зубами. Почти всей добычей рыбаков воспользовалась стая морских львов. Хорошо еще, что снасти уцелели.

Подняли парус. Бот плыл по мягко скользящим, уже сереющим волнам.

Звезды уже начинали бледнеть. Парус стал белее, и вдали показались береговые скалы. Чайка покружилась над ботом и снова улетела, продолжая описывать широкие круги. Жизнь в воздухе и в морской глубине начала пробуждаться.

Холодные воды низового течения, богатые морской снедью, поднялись кверху и привлекли стаи сардин. За сардинами приплыла более крупная рыба. Мелкая серебристочешуйчатая рыбешка в паническом бегстве стала выскакивать из воды на воздух. Вода кругом закипела и забурлила. Слетелись огромные стаи птиц. Все небо зарябило черными точками; словно колеблемое во все стороны облако сажи, реяли птицы над стаями рыб.

Заметив бурлящую воду, они кидались стремглав вниз, взлетая потом с трепещущей в клюве добычей. Морские львы, приплывшие сюда со своих лежбищ на влажных камнях, хватали добычу еще более энергично. Их темные тела ввинчивались в воду, схватывали с головы крупную треску и, лязгнув раз—другой острыми зубами, в два глотка проглатывали еще трепыхающиеся куски.

И вот вслед за ними явился человек в лодке с косым парусом. Пингвин предоставил руль своему помощнику. Сам он стоял на носу бота. Только с помощью динамита можно было получить хороший улов. Но в лодке сидел пассажир, о котором он ничего не знал. С другой стороны, не возвращаться же ему с пустыми руками!

В конце концов он достал динамит. В зубах у него была горящая папироса, он приложил ее к зажигательному шнуру, шнур затлелся, и Пингвин широким взмахом швырнул патрон со взрывчатым веществом в стаю взметнувшейся рыбы. Патрон взорвался с глухим треском. Столб воды поднялся вверх и, разбившись, обрушился вниз. Через несколько секунд множество рыб всплыло вверх животами на поверхность. Они делали последние судорож-

ные движения и оставались, оглушенные или мертвые, на поверхности воды.

Дважды глушил рыбу Пингвин. Несколько центнеров оглушенной рыбы всплыло на поверхность. Помощник достал сеть и хотел было грузить рыбу в лодку, но тут вмешался Ачассо. Он еще раньше заметил в лодке гарпуны и теперь сказал:

— Оставь их на приманку: один нарвал даст тебе больше и к тому же тебе не придется рисковать на берегу штрафом за динамит.

Это было предложение, о котором стоило подумать.

— А ты охотился когда-нибудь на нарвала? — спросил рыбак.

Пингвин тоже охотился на нарвал. Однако гарпуны лежали у него уже давно без употребления. Для охоты за нарвалом нужны опытные помощники, а с этим шоло* он никогда не рисковал пускаться на это дело.

— Так ты охотился на нарвала? — повторил он еще раз свой вопрос.

— Не раз, — ответил Ачассо.

— Тогда ладно, оставь рыбу, шоло, пускай плавает на воде.

Они достали из воды только горсть сардин, предоставив всю массу рыбы птицам и морским львам. Осталось, однако, достаточно и для приманки нарвала. Шоло вычистил сардины. Приправив перцем и уксусом, они глотали сардины сырыми, как и те всякого рода хищники, что охотились вместе с ними и теперь, насытившись, рассеялись: кто на дно моря, в прохладные леса глубинных водорослей, кто обратно на прибрежные камни.

Воды прилива опустели.

Они растекались жидким стеклом по бе з брежной поверхности, вырванные из глубины течением и увлекаемые им на север,— питательные железы моря, кормовища, кишащие жизнью.

Рыбаки спустили парус и уложили его в бот. Затем расположились поудобнее. Им оставалось только ждать, пока вынырнет нарвал, и они предоставили свое судно воле течения.

Солнце взошло над скалистым берегом и стояло высоко на безоблачном небе. Воздух был сух и трепетал, пронизанный зноем.

Бот плыл вдоль берега, поблизости от него.

С берега долетало резкое зловоние. На камнях лежали стаи ленивых массивных морских львов: впереди — самцы, позади — матки с детенышами. На одном высоком выступе лежало огромное животное. Его семья — с полсотни жирных маток с бурыми, маслянисто лоснящимися детенышами — расположилась внизу на плоском каменистом прибрежье. Самец привстал, опершись на ласты, и, подняв вверх голову, затянулся протяжным лающим воем, гневным и жалобным, навстречу солнцу.

Рыбаки продолжали плыть мимо лежбищ морских львов, мимо камней, на которых недвижно сидели птицы, точно скованные тысячелетним сном, над зелеными лугами водорослей, выползавших на поверхность из тихих скалистых бухт. В расстоянии одной мили от берега, увлекая с собой бот, струились воды прилива. Их легко можно было отличить по молочной окраске и по птицам-одиночкам, все еще продолжавшим реять над легкой добычей.

Рыбаки неподвижно лежали в лодке.

Никто не пытался завязать разговор. Губы у всех троих пересохли, языки прилипли к нёбу. Ачассо полулежал, облокотившись на скамейку, перед его глазами простиралась беспредельная сверкающая гладь. Он вдыхал столь знакомый ему воздух и плыл опять по тем же водам, у того же берега, у которого он вырос. Этот берег и эту страну он знал, как ни одну другую страну на свете. На две тысячи морских миль простирается она от этого места к югу и на неполных триста — к северу. Половина этой страны — пустыня, голые раскаленные скалы, как и те, мимо которых они плывут. А выше, на этих скалах и на плоскогорье за ними, залегают тонкие пласты селитры, из-за которой население этой страны находится в рабстве не только у своих собственных хозяев, но и у эксплоататоров всего мира.

Ачассо был охвачен как бы гипнотическим сном. Перед взором его проносились не только гладь моря и бурая полоса побережья. Проносились и другие картины.

Он видел бесконечный поток негров, индейцев — шоло и чино, — которые испокон веков направляются в эти области, богатые селитрой, чтоб бесследно погибнуть в течение немногих лет и уступить место новым рабам, привлеченным сравнительно высокой платой и другими приманками.

Видел он и обратное движение, повторяющееся каждый раз, когда сокращается вывоз селитры: эти голодные походы, порождаемые кризисами, эти толпы, растущие

* «Шоло» — смешанные потомки негров и индейцев.

от одной шахты до другой и натыкающиеся в прибрежных городах на штыки.

Вот перед ним на палубе корабля человек в мундире, усеянном орденами. Он поднимает руку, и несколько сот матросов начинают нажимать, напирать, толкать. Оцепленная железной цепью толпа людей, которую они заставляют медленно подвигаться вперед, может только кричать и кусать руки матросов. Но это не помогает. Вот лавина докатывается до борта, и, не встретив опоры, чтоб удержаться, люди начинают падать, опрокидываться через борт, исчезать в воде. Поглотив их, море снова смыкается, и можно подумать, что этой тысячи рабочих никогда и не было, что они никогда не добывали селитры, не бастовали и не стояли только что на палубе крейсера «Серре де Лимон Верде». Правда, матросы этого крейсера взбунтовались, но уже после того, как они сделали свое дело по приказу этого генерала.

— Мы сэкономили массу амуниции, — сказал после этого генерал в орденах, угловатая фигура с крепким затылком и отвислыми усами.

— А где этот генерал из военного совета?.. — заговорил вдруг Ачассо, нарушая мертвую тишину.

— Какой генерал? — спросил Пингвин.

— Да тот, который наделал дел в Иквикве...

— Саведра?

— Да, этот самый.

— Этого ты тоже знаешь?

— Так, немного.

— Он теперь префектом в Атахуальпе.

— Префект в Атахуальпе? — повторил Ачассо. Первым сообщил ему об этом Линднес, который слышал это от Берендса; теперь и Пингвин это подтверждает. Он погрузился снова в раздумье, предоставляя рыбаку строить собственные догадки о своем пассажире.

Пингвин наблюдал за Ачассо ночью, а потом при сборке снастей и замегил, с каким знанием дела он взвешивал в руке гарпун. Он рыбак, и рыбак с этого побережья — в этом не могло быть никакого сомнения. Четыре года назад он уехал отсюда и интересуется такими лицами, как Саведра. Он не только рыбак, но занимается еще и другими делами — это тоже совершенно ясно.

Ачассо был только внешне спокоен.

Имя Саведры и сознание близости этого врага породили в нем целый водоворот мыслей. Но ему необходимо соблюдать хладнокровие. Он вернулся сюда с определенным планом. Он не хочет ничего иного, как провести в жизнь этот план и принять участие в борьбе за освобождение рабочих селитряных копей. Совершенно случайно этот самый Саведра выдвинулся как главный враг в самый центр его плана. Ачассо смотрел на Пингвина, который вот уже несколько часов неподвижно сидел на корме своего бота. Он думал о старом, таком же тихом и замкнутом Антонио и о других рыбаках, с которыми он познакомился во время своего бегства с Огненной земли, на протяжении двух тысяч миль, испытав на себе их благоразумную осторожность и самоотверженную готовность помочь. Дюжину—другую этих рыбаков он должен завербовать на свою сторону. И то, что они сделали тогда для него, пусть они делают теперь организованно для общего дела и для собственного освобождения...

Долгий день клонился уже к концу. Вдруг они заметили парус небольшого бота, вышедшего, повидимому, из Атахуальпской бухты, а потом вдали — еще один.

Хижин Атахуальпы еще не было видно. Вдруг Ачассо, ни на минуту не отрывавший взгляда с беспредельной сверкающей глади, заметил борозду посреди этого водного зеркала.

— Они!.. — воскликнул он, поднимая руку.

Пингвин тоже увидел неподалеку от бота плывшее по воде и все приближавшееся длинное тело. Это был нарвал, а за ним — еще один. Они были сыты и теперь плыли на поверхности, греясь в знойном воздухе. Пингвин и шоло налегли на весла. Они подплыли ближе и могли яснее разглядеть животных: первое было крупное, второе — поменьше.

— Матка с детенышем, — сказал Ачассо.

Пингвин опустил весла.

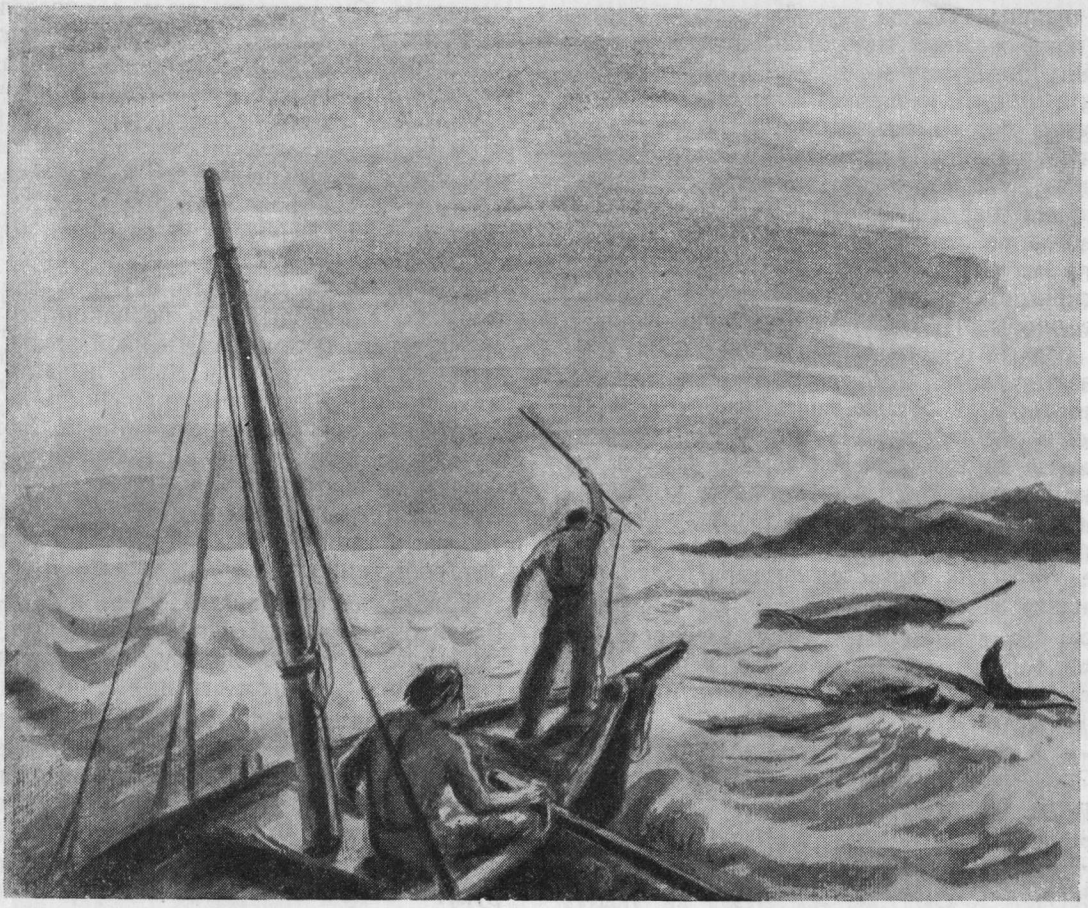
— Матку с детенышем нам не взять!

— Это уж предоставь мне. Я их добуду. Они, можно сказать, почти что у нас на крюке. С детенышем она не убежит. Она собирается напасть — это по всему видно.

— Вот я и боюсь, что нам с ней не справиться.

Пингвин посмотрел на Ачассо, стоявшего на носу бота и державшего гарпун наготове, и добавил:

— Один только и есть человек на всем побережье, который решился бы напасть



Ачассо стоял на носу с гарпуном в руке...

на матку нарвала. Вернее, один только был такой...

Ачассо забыл, что он только гость на этом суденышке. Он стоял на носу, как бывало в прежние годы, с гарпуном в руке, не спуская глаз с животного, застывшего в выжидательной позе. Они успели подплыть совсем близко, и было уже поздно повернуть бот. Не было даже времени перебросить гарпун из одной руки в другую. Этот момент был решающим; это видел и Пингвин.

— Право руля! — скомандовал Ачассо вполголоса.

Пингвин налег на весла, шоло тоже, и бот быстро понесся вперед.

Уверенная в своей силе, самка нарвала подпустила бот довольно близко. Ей не встречался еще противник, который устоял бы против удара ее меча. Ей случалось вступать в бой с огромнейшими акулами, с чудовищными полипами; она нападала даже на властелина моря — кита — и вырывала из его тела огромные куски сала. Теперь она одним всплеском хвоста отвела детеныша назад, под прикрытие своего огромного тела, вздрагивающего от напряжения.

— Давай, Пингвин! — крикнул Ачассо.

Бот рванулся вперед, навстречу костистому мечу и животному, вздымающему пену. Гарпун блеснул в руке Ачассо. «Но что это? — Пингвин вздрогнул. — Почему же он не бросает его в этот решающий, последний момент».

Ачассо стоял недвижимо на своем месте.

Но и столкновения с раз'яренным животным не произошло. Вскоре Пингвин увидал, как великан-рыба, которая, казалось ему, должна была быть впереди, вынырнула сбоку, из широкого кольца пены. Меч ее был направлен прямо на середину бота. На этот раз, однако, гарпун просвистел в воздухе. Раненый нарвал встала вертикально и потерял цель. Животное было почти в полтора раз длиннее чем бот и такой же, как

он, ширины. Хвост его плескал по воде, так что пена вскипала далеко кругом.

Эта матка не в первый раз сталкивалась с ловецкими ботами и не спешила сдаваться. Чтоб иметь возможность напасть еще раз, ей надо было повернуться, но Ачассо не давал ей этого сделать, крепко держа натянутую веревку. С каждым движением тяжелый двузубый крюк все глубже и глубже вонзался в тело нарвала.

Когда Пингвин увидал несущееся на бот огромное животное, он считал, что от бота сейчас ничего не останется, и соображал только, как бы спастись самим, как бы поскорее доплыть до какой-нибудь отмели, чтобы не барахтаться в воде, посреди обломков бота. Он никогда не предполагал, что человек может заставить такое чудовище свернуть с его прямого пути, и он не знал никого, кто мог бы нанести такой меткий и оглушающий удар. Никто, кроме того рыбака с юга, который пользовался широкой славой среди охотников на нарвала, не был с состоянии это сделать.

Но опасность еще не миновала.

Нарвал пытался освободиться от острого крюка, от крепкой веревки и натягивавшей эту веревку руки. Он метался так, что вода заливала бот, и вскоре бот с людьми и мечущимся на натянутой веревке нарвалом представлял собой лишь пенистый, размахивающийся клубок. Вдруг нарвал нырнул в воду. Ачассо отдавал концы — десять сажен, двенадцать... пятнадцать. Веревка натянулась под ботом, но вдруг повисла свободно.

— На весла!

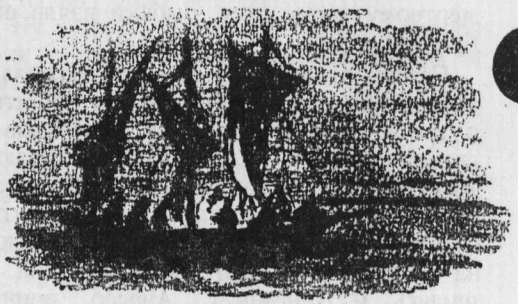
Рыбаки снова налегли на весла и стали грести изо всех сил назад. Едва они успели отплыть, как матка нарвала с бешеной силой вынырнула из воды на половину длины своего тела в том самом месте, где только что находился бот, врезаясь в воздух протянутым вверх смертоносным мечом. Недалеко от нее вынырнул детеныш, пытавшийся сделать такое же сокрушительное движение как мать.

Она снова нырнула в воду, и снова удар ее пришелся мимо бота. После третьей попытки она, повидимому, сдалась и обратилась в бегство. Быстрыми и крутыми зигзагами кружилась она, таща за собой бот.

Это плавание на буксире у смертельно раненого животного, мало-помалу теряющего силы, могло продолжаться долго. Ачассо крепко привязал веревку к боту.

Пингвин все понял. Теперь он знал, кто у него в боте.

— Ачассо! — молвил он и пожал руку своему гостю. Это было похоже на взаимное приветствие давно не встречавшихся старых друзей.



Собрание среди моря

Однако победой, одержанной над маткой нарвала, дело не ограничилось.

Оставался еще детеныш, а так как нарвалы обычно плавают парами, то где-нибудь поблизости должен был находиться и самец, который мог вынырнуть каждое мгновение. У рыбаков был уже наготове запасной гарпун и запасная веревка, когда они заметили второго нарвала. Подплывший из Атахуальпской бухты бот приготовился прикончить его. Там, в боте, — это они видели еще издали — было двое людей: один сидел на веслах, другой стоял с гарпуном на носу.

— Это Качимба, — проговорил Пингвин. Шоло тоже узнал кургузую коренастую фигуру рыбака. Пингвин, шоло и Ачассо сидели на своих скамьях в боте. Они теперь могли спокойно наблюдать, как со второго бота собираются бросить гарпун. Они видели, как поднялась вверх рука Качимбы, как пролетел в воздухе брошенный гарпун и как Качимба изогнулся, чтобы подобрать натянутую веревку .

Но что это? Он работает обеими руками. Вытягивает из воды свободную веревку и гарпун. Значит, он промахнулся? Тотчас же он снова встал, выпрямившись на носу бота, готовясь вторично бросить гарпун.

Но он не успел это сделать.

То, что последовало, было для Пингвина, шоло и Ачассо, следивших за всеми движениями Качимбы, столь же неожиданной, сколь и страшной игрой силуэтов. Они увидали на волнах остроконечный треугольник. Вынырнувшая из глубины рыба протаранила бот и подняла его с таким остервенением, что меч и голова пробили корпус лодки, и животное до спинного плавника врезалось в бот. Поднявшаяся над водой рыба и высоко поднятый бот образовали странную треугольную фигуру.

Картина мгновенно изменилась.

Этот треугольник рухнул. Нарвал отшвырнул протаранный бот в сторону, и в следующий момент только темный полумесяц хвоста мелькнул над волнами. Только это и успели увидеть трое сидевших в боте.

Ачассо стоял со вторым гарпуном, как и прежде, на носу бота.

Второй нарвал окончил свое разрушительное дело.

На месте, где только что еще находился бот Качимбы, плавали одни обломки, и взбешенное чудовище направилось теперь в сторону державшихся на воде рыбаков, пытавшихся доплыть до третьего, приближавшегося бота. Но вдруг животное увидело более крупный об'ект — бот Пингвина — и, сделав быстрый поворот, не тратя времени на рыбаков, стало быстро приближаться к нему.

Ачассо, бросая гарпун в матку нарвала, в первый раз за многие годы столкнулся лицом к лицу с опасным животным. Он действовал совершенно инстинктивно. Теперь к нему вернулись все его хладнокровие и расчетливость, и он почти как посторонний наблюдатель следил за этим вторым стремительно приближающимся чудовищем. Он видел его гладкую синеватую кожу, вздымающийся хвост и сидящие по бокам маленькие злобные глаза. Огромное животное неслось по прямой, как струна, линии. Это не были увертливые зигзаги осторожной матери-самки.

После схватки Ачассо с остервенелой коварной самкой эта атака самца, мчавшегося на бот очертя голову, была для Пингвина лишь интересным зрелищем. И он предвкушал давно жданное наслаждение: спокойно наблюдать мастерство Ачассо в метании гарпуна. Правда, он уже видал его работу в схватке с самкой, но тогда ему было не до любования мастерством. Теперь он видел, как Ачассо стоит с гарпуном. Здесь было удивительно лишь его замечательное самообладание и спокойствие. Ни одним движением не выдавал он нарвалу, что тут что-то для него готовится. Даже перед самым броском он не сделал резкого движения. Гарпун медленно и почти незаметно отклонялся назад для размаха. И вдруг разом он бросил тело вперед, и гарпун вонзился в животное как раз между глазами, нанося ему смертельную рану.

Самец не пытался повторить нападение и не нырнул даже в воду. Несколько раз повернулся он вокруг себя, тщетно пытаясь восстановить равновесие. Лежа на боку, попробовал он плыть дальше. Сил этого гиганта хватило, чтоб тащить за собой бот с рыбаками и чтоб нагнать смертельно раненую самку.

Теперь у рыбаков было достаточно времени.

Увлекаемые обоими животными, они быстро отплыли от места катастрофы. Сначала быстрое и неровное движение мало-помалу стало спокойнее. Резкий рывок был еще только раз. Самец перевернулся на спину и лег неподвижно на поверхности воды. Пингвин подтянул веревку, и, подплыв к мертвому животному, рыбаки взяли его на буксир.

Самка, однако, все еще продолжала держаться. Ей приходилось теперь тащить бот с тремя рыбаками да еще и мертвое тело своего супруга. Сила этого умирающего животного была настолько велика, что бот Антонио успел скрыться за горизонтом и солнце уже зашло, а оно все тащило бот на буксире. Наконец силы нарвала истощились, и Пингвин с Ачассо принялись травить веревку, сажень за саженью приближаясь к животному. Прошло не меньше часу, пока второй бот, а потом и третий, также вышедший из Атахуальпской бухты, подплыли к ним. Матка нарвала сначала легла набок, потом перевернулась, выставляя кверху свое серебристое брюхо.

Второй бот тащил на буксире обломки бота Качимбы, и поэтому третий бот подоспел раньше. Плывший на нем рыбак стоял на носу, рассматривая добычу Пингвина.

Пингвин окликнул его.

— Эй, Пехеперро, — кричал он ему, указывая на детеныша, державшегося все время около матери, но теперь готового навострить лыжи. Пехеперро мигом понял, в чем дело. Он поплыл вслед за детенышем, но, сверх ожидания, поймать его оказалось довольно трудным делом. Детеныш нырнул в воду, потом вынырнул несколько дальше и отвлекал Пехеперро все дальше и дальше от места, где стоял бот Пингвина. Он чуть было совсем не скрылся от него в быстро наступившей темноте.

Тем временем подплыл второй бот.

В нем был Антонио. Вместо помощника с ним была его внучка Тутапа, а кроме того — Качимба и его товарищ, которых он выловил из моря. Старик Антонио сразу узнал Ачассо. Четыре года назад, в такой же вечер, как и этот, Антонио встретил его на борту у другого рыбака и взял к себе в бот, чтоб отвезти его дальше, на север, через границу. Это было тогда для Ачассо последним этапом долгого пути.

— Антонио! — крикнул Ачассо, приветствуя его.

Антонио все еще держал руку козырьком над глазами, точно для того, чтобы лучше разглядеть Ачассо. Он всегда был очень скуп на слова, а эта встреча была для него сюрпризом. Зато его внучка Тутапа с откровенным любопытством смотрела на незнакомого рыбака, прикончившего это огромное животное, с которым не могли справиться Качимба с товарищем. Девочке на вид было лет двенадцать.

— Ну вот я опять здесь! — сказал Ачассо, когда оба бота подплыли борт к борту.

— Как раз вовремя! — ответил Антонио. Эти слова были полны значения: они показывали, что Антонио не забыл своего обещания, данного им Ачассо при последнем прощании, когда старый рыбак, переправив Ачассо заграницу, должен был вернуться в страну рабства.

Антонио пришвартовал свой бот по другую сторону убитого нарвала и, увидев его огромную тушу, предложил свою помощь при свежевании. Так как вечер был тихий и до поднимающегося в полночь берегового бриза вряд ли можно было ожидать изменения погоды, он внес предложение что-нибудь сварить, чтоб подкрепиться.

Багрянец заходящего солнца уже утратил свой блеск. Море стало снова голубым, и вскоре исчезла даль над голубой гладью, мягкая темнота проникла туда. Только на животе убитой матки нарвала оставался еще отблеск белесоватого света, и можно было еще различить контуры обоих ботов. Вскоре после этого послышались удары весел, и появился возвращавшийся бот Пехеперро. Он поймал детеныша, который лежал уже у него в садке, на дне бота.

Все три бота находились не меньше чем в десяти милях от берега, но колыхались в эту ночь на воде так спокойно, точно на тихом деревенском пруду.

Тутапа развела огонь и поставила воду. Пингвин достал одну из румяных вкусных конгрио и приготовил для варки. Вскоре ужин был готов. Пингвин закурил трубку. Подобная встреча рыбаков случалась редко. Если они и встречались иногда друг с другом, то перекидывались издали несколькими словами. Стоять же рядом, как в эту необычную ночь, им никогда не приходилось.

— Я думаю, нам надо кой о чем поговорить, — заговорил Пингвин.

Этими словами он хотел возобновить разговор, который они начали, когда их тянула за собой матка нарвала. Кроме того он хотел еще услышать от Ачассо подробнее о том, какую помощь могут оказать рыбаки в борьбе за свободу.

Ачассо зажег свою трубку, выпустил клуб дыма и посмотрел вслед густому табачному облаку. Он не мог и мечтать о более удобном случае и о более подходящих условиях для серьезного разговора.

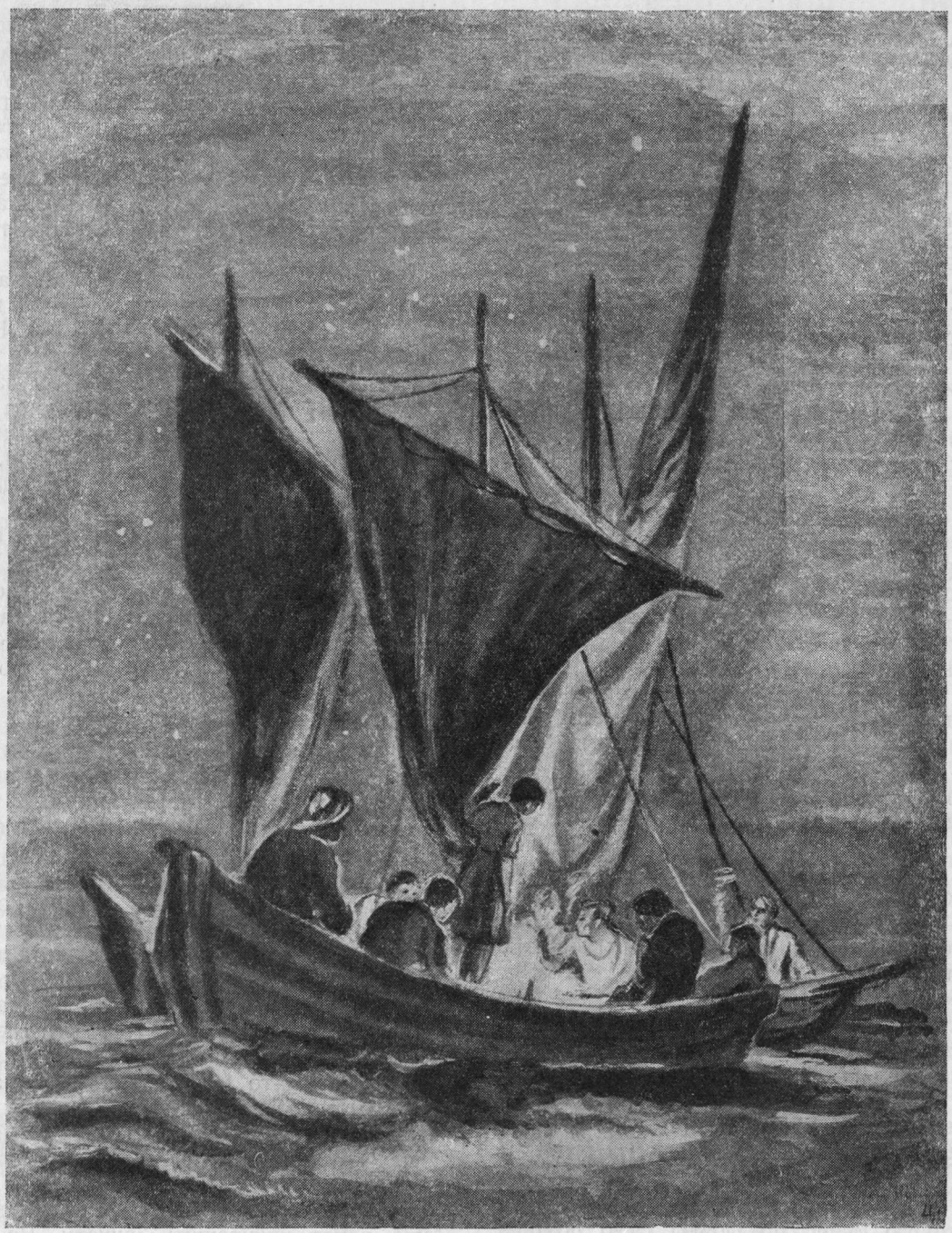
— Мне трудно говорить, — медленно начал он. — Я давно не был на родине, а за это время многое здесь переменилось. Знаю только, что свергнутый диктатор обещал народу «социализм» и что нынешний президент тоже много разглагольствует об этом. Саведра тоже это говорит. Здесь у вас—Саведра, а в столице—Давила.

— Саведру-то мы хорошо знаем, а Давила, наверное, такой же прохвост! — сказал помощник Качимбы курчавый Морено. — Мошенники они! — прибавил он с жаром.

— Конечно, они лгут, когда говорят, что хотят уничтожить нищету. Но лгут, прикрываясь истиной, которая становится все более и более ясной всем. Послушать их, так это ярые социалисты. Таким путем они вербуют себе сторонников.

— Фашисты они, больше ничего! — ввернул Морено. Он словно старался вызывать Ачассо на боевые словечки.

— Таким был Ибаньес, таков же и Монтеро. Давила, когда придет к власти, тоже будет таким же. Они говорят о свободе и



Стоять рядом в открытом море, как в эту необычную ночь, им никогда еще не приходилось.

социализме, потому что без этого нынче не обойтись. Но не с помощью рабочих и крестьян хотят они его построить. Президент Монтеро пробует это сделать на английские и европейские деньги.

Стоит кому-нибудь пошевелиться, как Саведра его сейчас велит упрятать, — ввернул Морено.—Мне пришлось это испытать на своей шкуре, и не один раз!

— Уж я лучше подложу сегодня же этой собаке динамитный снаряд под его полицейскую станцию, — впервые открыл рот

Качимба. — Можно целый бот подвести, я думаю, хватит!

— Еще бы! — сухо усмехнулся Морено. — Мы присмотрели местечко, куда подвести бот. Нужна только темная ночь да еще двое, кто бы помог. А тогда все это — пустое дело.

— Бот-то, к сожалению, приказал долго жить, — вставил шолю.

— Это правда, чорт возьми! — проворчал Качимба.

Ачассо пристально наблюдал за лицами рыбаков. Значит, они действительно задумали этот план, раз серьезно о нем говорят. По крайней мере, по Качимбе видно, что это его очень волнует, не дает ему покоя. Усмешка же Морено не понравилась Ачассо. Ачассо всмотрелся в него внимательнее: у него были беспокойные маленькие глазки и сросшиеся брови.

— Только так и можно уничтожить фашизм! — вспыхнул он под пристальным взглядом Ачассо.

— Нет, надо иначе, совсем иначе! Фашизм уничтожат только те, кто построит новую жизнь, то есть рабочие! — сказал Ачассо.

Пингвин, со своей стороны, зашел дальше, чем Ачассо считал подходящим в данную минуту:

— Прежде всего нам надо установить связь с рабочими в пампе и устроить общую встречу, — сказал он.

— Надо пригласить Патакоху и Мачо тоже! — предложил Морено.

— За две недели, я думаю, мы можем всем сообщить, и такое свидание может состояться в Буэнвиенто у меня или у Антонио, — предложил Пингвин.

— Ну на том и порешим! — заявил Морено.

Пехеперро тоже выразил свое согласие. Антонио промолчал.

Ачассо стремился к встрече рыбаков с организаторами селитряных рабочих и имел в виду предложить на таком совещании разработанный план. Но ему не понравилась сама организация встречи, хотя он и сам не знал почему.

Он смотрел на нежные оттенки неба, на туманный отблеск, ложащийся на воды. Ничто не говорило о приближении берегового бриза. Антонио почувствовал, что пора прервать этот разговор.

— Ну пора за работу, — сказал он. — Хорошо, если подует ветер: он нам поможет скорее доплыть. Ну а если ветра не будет, придется долго помахать веслами.

Они принялись за работу. Пехеперро, живший, как и Качимба, близ Атахуальпы, взял Качимбу и Морено к себе на бот, и они втроем свежевали самку. Они не успели еще покончить со своей работой, как лежавший над морем туман разорвался, прояснилась полоска неба и поверхность моря покрылась рябью.

Пехеперро поднял парус, чтоб поймать первое дуновение бриза. Однако его бот не сразу двинулся с места: ему сильно мешали обломки бота Качимбы, которые пришлось тащить на буксире. Пока бот отплывал, Морено крикнул товарищам:

— Так помните: после полудня, ровно через две недели у тебя, Пингвин! Мачо и остальным в пампе я сообщу!

И когда очертания паруса стали уже расплываться в темноте, еще раз послышался его голос:

— Ты ведь тоже будешь, Ачассо?

Остальные тоже покончили со своей работой. Рыба была уложена. Закрыли садки, вымыли руки. Антонио, повидимому, не спешил. Он присел и предложил остальным покурить. Он угостил товарищей хорошим английским табаком.

— Кто этот Качимба?—спросил Ачассо.

— Качимбу я знаю, — ответил Антонио.

— А Морено?

— Морено не знаю.

— Он из пампы, Качимба знает его. Я несколько раз встречал его у Мачо, — сказал Пингвин.

Антонио и Ачассо полагали, что нельзя было так рано назначать собрание.

— Такое собрание необходимо, — заявил Ачассо, — но сперва нам надо договориться, чем рыбаки могут помочь рабочим.

Пингвин напомнил:

— Если ветер станет крепчать, нам придется сейчас разъехаться. Ну так чем же мы можем помочь?

— Рыбаки могут сделать очень много.

— Что же именно?

— На берегу есть группы красных профсоюзов, комитеты безработных, есть, правда, небольшая организация коммунистической партии. Но у них нет никакой связи друг с другом.

— Это верно, — заметил Антонио. — Забастовки бывают часто, демонстрации безработных тоже, даже форменные бунты. Но всё это происходит вразброд и подавляется каждое порознь.

— Итак, нужна прежде всего хорошая организация связи.

— Ну это само собою ясно, — согласился Пингвин.

— А какие пути к этому? Железная дорога — путь самый ненадежный!

— А как же тогда? Пешком через пустыню?

— Есть надежный путь! — ответил Ачассо.

Разговор дошел до той точки, до какой ему хотелось, и оставалось только изложить собеседникам план, который он давно задумал и ради которого вернулся на родину. Он бросил беглый, но внимательный взгляд на Антонио, Пингвина и шоло, только на двенадцатилетней Тутапе взгляд его остановился подольше.

— Можешь говорить. Тутапа умеет молчать. Никто от нее ни слова не услышит, — сказал Антонио.

Ачассо начал издалека. Он рассказал, как он четыре года назад бежал с каторги, добрался до берега, встретил рыбака, который провез его несколько миль, как он потом нашел второго рыбака и перешел с одного бота на другой. Пингвин сразу понял, к чему он ведет.

— Ты хочешь сказать, что надежный путь — море?

— Что лежит перед носом, того чаще всего не замечаешь. Мне тогда же пришла в голову эта мысль и не оставляла меня больше. Путь, который я прошел тогда, должен быть превращен в постоянный путь. Группы рабочих союзов и остальные организации могут связаться между собой через сеть рыбачьих ботов. Таким способом мы сможем не только переправлять литературу, а даже рассылать агитаторов и устраивать побеги.

Ачассо продумал все подробности и мог набросать перед ними весь свой проект.

На шестьсот морских миль тянется прибрежная полоса селитряной пампы. Приблизительно посредине этой полосы находится узкая малодоступная бухта Калета Вьеха. Эта бухта ограждена со стороны суши отвесными берегами. В былые времена она служила убежищем флибустьерам. Об этом свидетельствует еще стоящая на самой верхушке Калеты Вьеха старинная крепостца, построенная еще испанцами. Это скрытое и незаметное место может отлично служить центром движения. Восемь ботов могут оттуда установить связь с севером, до самой границы селитряного округа. Потом, надо организовать второе крыло — на юг. Затем, с помощью хотя бы одного или двух ботов надо наладить связь со столицей.

Рыбакам план понравился.

— Пока у нас два бота, но мы достанем двадцать, а то и больше.

Боты стали тереться друг о друга бортами. Ветер посвежел. Рябь на море усилилась.

— Ну пора на свои боты. Итак, с чего же начать?

— Я еду на юг, до Калеты Вьеха, таким же способом, как тогда; там я повидаюсь с рыбаками.

— А тем временем мы тут нащупаем почву.

Пингвин перелез обратно в свой бот. Ачассо продолжал сидеть.

— Да поезжай со мной, — сказал Антонио. — Не доезжая Буэнвиенто, мы встретим бот, на который я смогу ссадить тебя!

— А как же собрание? — спросил Пингвин.

— Для нашего плана там будет слишком много ушей, — ответил Ачассо.

Антонио же прибавил:

— Нужны только Мачо и Патакоха.

— Так как же быть-то?

— После собрания бери Мачо и Патакоху к себе в бот, но только этих двоих, и выезжай с ними в море. Я к тому времени уже вернусь с несколькими ботами и с кое-какими надежными рыбаками. Мы будем ждать вас впереди бухты.

— Значит, через две недели!

— Через две недели у Буэнвиенто.

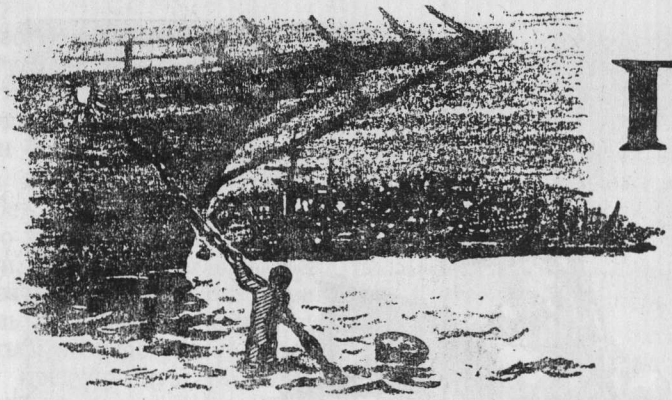
С тем они и расстались.

Еще раньше, чем прошли эти две недели, об Ачассо стали ходить слухи. Про него рассказывали на рыбных местах, где встречаются рыбацкие боты, и у ночных костров на берегу.

Но никто не говорил: «Ачассо вернулся!» Говорили: «Нарвал снова появился. Долго не было его у наших берегов».

Сам Ачассо предложил говорить именно так.

Когда он покидал наполненные до бортов боты, он просил: «Только не говорите ничего обо мне, не называйте моего имени, забудьте его совсем!»



Побег

Уже две недели стоял «Кап Финистерре» на якоре в бухте Буэнвиенто. С утра до вечера громыхали под'емные краны. И с каждой тонной угля, поднимавшейся из трюма и ссыпающейся в лихтер, стоящий у борта, корабль все выше и выше поднимался из воды.

Через две недели непрерывной работы над водой возвышался высокий черный корпус «Кап Финистерре».

На палубе почти никого не было видно: один стоял у под'емного крана; еще двое — со штурманом у фальшборта — для очистки корзин; остальные с лопатами и крючьями были заняты внизу, в трюме.

— Вира! — доносилось снизу.

Человек у парового крана нажимал рычаг, ворот лебедки начинал вертеться, наматывал на себя длинный проволочный трос — и из глубины поднимался груз: четыре—пять корзин, наполненных углем.

На этот раз, однако, поднялся наверх не только груз с углем: на корзинах сидела на корточках, согнувшись в три погибели, какая-то фигурка; она крепко держалась за железный крюк, предназначенный для канатных ковшей, и с минуту висела в воздухе. Затем она спустилась вместе с корзинами на палубу.

Это был мальчик-подросток с длинными руками и ногами. Его вз'ерошенные волосы, лицо, обнаженная верхняя часть тела и рваные штаны — все было покрыто густой, жирной угольной пылью. Пока с палубы ссыпали уголь в лихтер, он сидел, ослепленный светом, и смотрел прищуренными глазами на воду и на берег.

Но там, собственно, не на что было смотреть.

Картина была очень однообразна: песок, груды валунов и скалы, поднимающиеся на тысячу метров в безоблачное небо. Все было серо, не исключая немногих хижин на берегу. Часть хижин стояла на отлогой полосе берега; остальные висели, точно колонии птичьих гнезд, кругом на скалистой стене. Городок производил впечатление вымершего.

Мальчик осмотрелся.

От мола отчалил угольщик. По тихим водам бухты плыл рыбачий бот. С противоположной стороны, далеко в открытом море, маячили, словно плавники акулы, косые паруса.

Кран продолжал стрекотать.

Пустой крюк спустился обратно в трюм, вторично спустил свой груз на палубу. Когда он снова поднялся, Линднес, работающий у под'емки, окликнул мальчика:

— Клаус!

Клаус встал: он проветрил свои «дыхалки», теперь надо было обратно в трюм, в кучу угольной пыли. Он перегнулся уже за ботик люка и поставил ногу на верхнюю ступеньку железной лестницы. Вдруг стрекот парового крана прекратился. Линднес остановился и посмотрел на берег, в сторону скал, нависших над городом. Над скалами показались медленно оседавшие клубы пыли.

Клаус тоже заметил эту пыль. Несколько дней назад он видел такую же картину. Он выскочил обратно на палубу и еще раз всмотрелся в скалы. Потом он наклонился над люком и крикнул:

— Землетрясение!

Через несколько секунд длинная узкая лестница загремела под торопливыми шагами. Чья-то черная рука схватилась за бортик люка. Чье-то тело, за ним другое, третье, четвертое, пятое выскочили из люка, словно стая горилл.

Тут были все: Свен, Нильс, Иоргенс, финны Кристер и Петер, и Ганнес, и Яп. Они подбежали к фальшборту и смотрели на длинные хвосты пыли, на прибрежные хи-

Вооруженные всадники двигались по направлению к городу.

жины, на суматоху среди жителей, которых, повидимому, лишь землетрясение могло вывести из оцепенения и которые теперь, на глазах моряков, пробуждались к жизни.

Облака пыли на этот раз двигались медленнее обычного. Не было видно оторванных глыб, скатывавшихся в долину. Три отряда вооруженных всадников двигались по направлению к городу. Когда передние ряды достигли хижин, которые, как ласточкины гнезда, лепились по скалам, и улиц, круто спускающихся вниз и напоминающих глубокие русла, изрытые трещинами,— они обнажили сабли, блестящие клинки которых засверкали на солнце.

Но население городка вело себя так, как в момент обычного землетрясения: жители до последнего человека покинули свои хижины. Их серые толпы запрудили узкие улички и выплеснулись на площадь. Всадники под'ехали ближе. Лошади перед наступающими на них с разных сторон толпами людей поднялись на дыбы.

Но всадники обращали мало внимания на демонстрантов. Они пробили себе путь сквозь толпу, ринулись по круто спускающимся к морю улицам вниз, с трех сторон окружили внизу на берегу один дом — с крыши его мирно свешивались рыбачьи верши и натянутые для просушки сети — и ворвались внутрь.

Вскоре, однако, они вышли оттуда, сели на коней и погнали приближавшихся демонстрантов по улицам вверх. Что происходило на улицах, моряки не могли разобрать. Несколько раз доносились звуки, напоминавшие хлопанье бича. Это были ружейные выстрелы.

— Ну, хватит, спускайтесь обратно вниз, — решил штурман.

Матросы направились обратно к люку, перелезали через барьер и медленно спускались обратно в полумрак трюма. Они взяли в руки брошенные перед тем лопаты, поставили корзины, наполнили их углем и подвесили на крюк. «Вира!» — крикнул один из них, и груз поднялся вверх.

Штурман наверху крикнул: «Берегись!» Какая-то грузная кипа рухнула вниз, шлепнулась о рассыпанный уголь и рассыпалась на четыре или пять пустых корзин.

Так продолжалось дальше, так бывало каждый день, с шести утра до шести вечера.

Хотя они уже две недели стояли здесь на якоре и с рассвета до ночи работали,

как волы, однако ни разу еще не были на берегу и не успели познакомиться ни с одним из жителей городка.

А виноват был в этом старый чорт, капитан парусника!

Он хорошо знал, что его «Кап Финистерре» — далеко не образцовый корабль и что платил он своему экипажу сущие гроши. При отпуске на берег полагалось выдавать команде часть жалованья. Кому-нибудь легко могла придти в голову мысль остаться на берегу и не вернуться обратно. Чтоб предупредить такую возможность, никому не разрешалось сходить на берег; а для того, чтобы быть совсем спокойным, капитан распорядился каждый вечер поднимать на палубу и привязывать бот, которым он пользовался сам.

На этот раз, однако, то, что происходило на берегу, было так близко, что могло снова привлечь внимание команды. Линднес снова остановил кран и сунул голову в квадрат люка.

— Сволочи они, паршивые сволочи! — крикнул он вниз.

— Ну, ну, нечего! Всем оставаться внизу! — вслед ему туда же крикнул штурман.

Дело в том, что жандармы перевернули в городке все вверх дном, и в тот момент, когда Линднес вторично остановил кран, пустили несколько ружейных выстрелов в стоявший в бухте рыбачий бот. Рыбак повернул к берегу. Очевидно, они хотели обыскать его бот.

— Они чего-то ищут! — заявил Линднес. Он продолжал свою работу уже менее внимательно. Штурман тоже не мог сосредоточиться, и один раз забыл даже предупредить работавших внизу и сбросил тяжелые, окованные железом корзины чуть не на головы матросов.

Как ни мало касалось экипажа случившееся на берегу событие, все же оно взволновало команду. Вдруг штурман крикнул вниз и вызвал команду наверх.

На палубе парусника стояло несколько молодцов в ярких мундирах и кавалерийских ботфортах с огромными шпорами. Они приказали рыбаку перевести их слова, причем один — повидимому, начальник — потребовал, чтобы ему показали команду. Он вглядывался в лица моряков. Кто был выше, кто ниже ростом, но лица их под толстым слоем угольной пыли казались совершенно одинаковыми.

— Я не вижу ничего подозрительного,— обратился он к штурману. — Я не хотел только ничего упустить, — сказал он извиняющимся тоном. — Этот парень исчез с корабля еще в открытом море?

— Незадолго до входа в бухту.

Начальник построил своих людей и спустился с ними в бот, приказав плыть обратно к берегу. Матросы уже знали, в чем дело: полицейские искали Ачассо.

— Так здесь вся штука в Ачассо! — говорили между собой матросы.

— Это он вызвал на берегу что-то вроде землетрясения!

— Не парень, а чорт! — заметил Линднес.

Тем временем наступил час обеденного перерыва. Матросы оставались еще несколько минут у фальшборта.

Как всегда, городок лежал в глубокой истоме под знойным небом, погруженный в сон.

Как будто ничего не произошло.

Один из матросов с угольной баржи поднялся на палубу. Яп, кое-как говоривший на ломаном местном наречии, пригласил его в кубрик пообедать.

Когда все сидели вокруг стола, Яп спросил матроса с угольщика, что случилось на берегу.

— Они пошли к одному рыбаку, — ответил тот, — но того не было дома. Не нашли его и в боте: там был только помощник.

— Они ведь стреляли!

— Не обошлось без того... Как они завидят толпу, так от страху сразу теряют голову, ну и палят!

— Спроси его, знает ли он толстяка дон Хозе в Атахуальпе, — предложил Линднес.

Япу хотелось знать, можно ли получить работу на берегу, ну, например, в копях.

Юнга Ганнес шел еще дальше в своих мечтах:

— Там ведь есть золотые россыпи, можно золото мыть. Надо только забраться поглубже в горы, к рекам, по ту сторону Кордильер!

Когда матрос с баржи услышал о расчетах матросов на работу, он оглядел их, как будто перед ним стояли какие-то существа, свалившиеся с луны. Все же он ответил на вопрос.

— Найти на берегу работу нынче не так-то легко, — сказал он. А насчет промывки золота он вообще ничего не сказал, даже когда Ганнес спросил его еще раз об этом.

— «Кап Финистерре» тоже непохож на золотой рудник, — сказал Яп. И он был прав: «Кап Финистерре» действительно не был золотым рудником, и прежде всего для Клауса. Несколько дней назад его занесли в реестр юнгой. Специально для этого приезжал из Атахуальпы вицеконсул; Клаус еще в море получил в счет жалованья плащ, рубаху и пару рабочих штанов; сапоги и прочие вещи ему надо было еще отработать на обратном пути.

Обеденный перерыв еще не кончился.

Оба юнги, Ганнес и Клаус, встали, поднялись на палубу, оттуда на бак. Там они лежали, наблюдая за тележкой, запряженной мулом, которая медленно тащилась по берегу. Эту тележку они видели не раз. Она под'езжала из города и на полдороге останавливалась обычно и что-то отгружала; эта отгрузка происходила всегда в одном и том же месте, единственном, где берег представлял песчаный нанос. Во всех остальных местах возвышались крутые скалы или лежали плоские камни, над которыми пенилось и бурлило море, почти так же, как у входа в бухту у Пунта де Пледрас.

— Как ты думаешь, далеко ли до этих песков? — спросил Клаус.

— Да, пожалуй, туда не доплывешь, — ответил Ганнес.

— А я думаю: за полчаса можно доплыть.

— Полчаса я тоже могу проплыть, — похвастался Ганнес.

Он не хотел отставать от Клауса, и оба, перебивая друг друга, стали строить план, как вместе бежать с парусника.

— Одежду мы положим в лохань, — предложил Клаус. — На берегу сможем кое-что продать, чтоб как-нибудь пробиться для начала.

— Но ведь ночью не увидишь берега.

— А мы будем смотреть на фонари в гавани.

Они поршили и хлопнули по рукам. Затем их позвали на работу.

Они спустились вместе с другими в трюм. Линднес был на этот раз тоже тут. Наверху, у крана, работали посменно, сменяясь через каждые полдня.

Первые корзины еще не были наполнены.

— Джинго!.. — крякнул Линднес. Это было его всегдашнее выражение, когда он бывал не в духе. Он всовывал свою лопату в уголь с таким бешенством, что куча осыпалась и пыль подымалась до самого люка. — Джинго!.. Не могу больше! Стащу бот у шкипера и отправлюсь на берег!

— Если б Ачассо был еще на борту, мы бы давно уже побывали на берегу! — подхватил кто-то.

— Сегодня вечером иду к капитану! — заявил Линднес, немного помолчав, и обхватил обеими руками рукоять лопаты с такой силой, что жилы у него вздулись.

Вечером, когда все поужинали и умылись, он направился к капитанской каюте.

Капитана там не было. Это была первая неудача.

— Капитан на берегу. В чем дело, Линднес? — спросил штурман. Это был первый, с которым можно было говорить.

— Мы хотим на берег! Мы не раз уже говорили об этом, а теперь уж нам надоело говорить!

— Из этого ничего не выйдет, Линднес. Старик на берегу: выправляет бумаги на обратный путь. Груза в гавани нет никакого. Завтра после обеда мы отплываем дальше на север. Я думаю, к обеду уголь будет выгружен...

— Но ведь это...

— Ничего не поделаешь. Мне тоже многое не очень нравится, — перебил его штурман.

— Но я выскажу старику свое мнение об этом, — вспылил Линднес и сжал кулаки в бессильной злобе. Ему пришлось, однако, ни с чем вернуться на ют.

— Ну и сволочь же этот старик! — заявил он, входя в кубрик. — Я скажу это ему прямо в глаза, как только он вернется.

В это самое время оба юнги снова стояли на баке. Небо было подернуто облаками, и до полуночи нельзя было ожидать луны.

Они смотрели на мол с цепочкой огней и рассчитывали еще раз направление, в каком должен находиться песчаный берег.

— Это должно быть там, направо от этого маленького огонька, — сказал Клаус.

— Я тоже так думаю, — подтвердил Ганнес. — Этот огонек из хижины, что там стоит. Но кругом так темно, что ничего нельзя сказать наверное.

— Огни-то ведь видны. А когда мы проплывем подальше, и огни нам будут видны в один ряд, надо будет плыть дальше, пока они у нас не очутятся с другой стороны,— тогда уже будет недалеко!

— Хоть бы луна была! — проговорил Ганнес.

— Нам надо удирать сегодня: завтра будет уже поздно! — сказал Клаус.

— Да, завтра будет поздно, — согласился Ганнес.

Они спустились с бака. Клаус достал приготовленную заранее лохань — распиленную пополам бочку от солонины, достаточно просторную, чтоб вместить одежду обоих. Когда Клаус вошел в кубрик, Ганнес рылся в своем шкафчике. Клаус открыл дверцу своего шкафчика и бросил в ведро свои брюки, пару сапог и немного белья, делая вид, будто собирает все это для стирки.

Яп, Петер и Кристер обращали мало внимания на то, что делают юнги: они сидели за столом и играли в карты. Линднес как будто ничего не замечал и сидел, как каменный.

Вернувшись на бак, Клаус уложил костюм и белье в лохань, Ганнес довольно долго не приходил, потом явился с пустыми руками.

— А знаешь, это не легкое дело! — начал он.

— Что́ нелегкое дело?

— Бухта-то ведь находится под восемнадцатым градусом.

— Под восемнадцатым градусом южной широты. Это мы знаем. Ну так что ж?— спросил Клаус.

— Я говорил с матросом с баржи. Он рассказал, что видал тут акул. Огромнейшие твари!

Клаус онемел от волнения.

— Значит, когда дошло до дела... — смог он только вымолвить.

— Да уж как знаешь, а я не плыву!

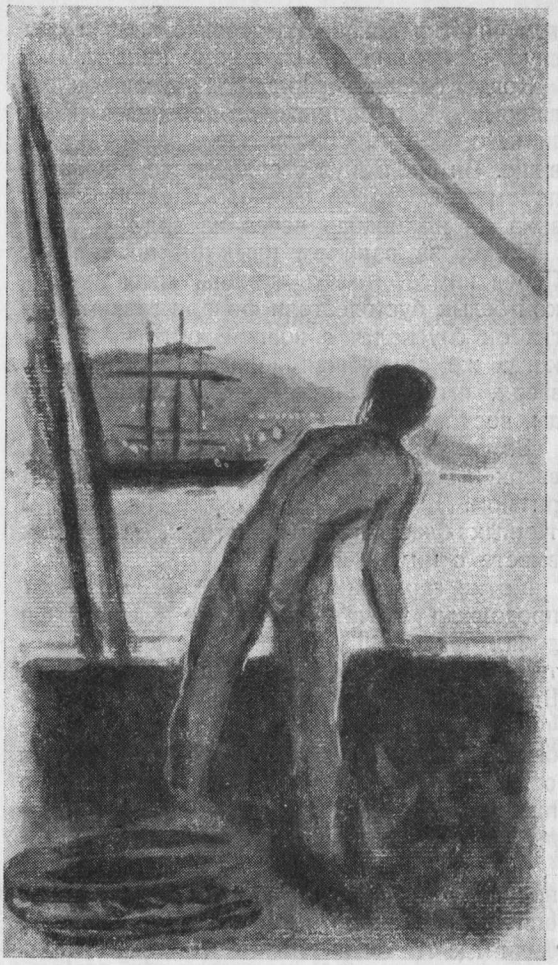
— Ну что же, поплыву один! — заявил Клаус и снова согнулся над лоханью.

— Может быть, я могу чем-нибудь помочь тебе?

— Ничем ты не можешь помочь!

Клаус остался один и ждал. Он сидел за связкой канатов, где его не было видно, но откуда он мог видеть всю палубу. В матросском кубрике заливалась гармоника: это играл Яп. Один раз вышел Линднес, босиком, с непокрытой головой, постоял у фальшборта, посмотрел на море, на берег, где виднелся город со своими красноватыми огоньками. Немного постояв, он ушел обратно.

По стеньгам и реям дул ветер. Кое-где постукивал о мачту блок или трос. Клаусу стало грустно. Он чувствовал себя как дома на этом паруснике, где он наслушался столько ругательств. У него была своя



Клаус перешагнул через борт.

койка, разукрашенная картинками из иллюстрированных журналов. Ему оставалось только улечься в нее и заснуть. Но Ачассо не было, не было и старика Мартина: его отвезли в больницу в Атахуальпу. И решение Клауса бежать с корабля оставалось твердым.

Он взглянул на мачты. Эти мачты и множество тросов, свешивавшихся в темноте, теперь не были уже для него непонятной путаницей. Они представляли хитроумную систему, в которой он мог хорошо разобраться. В кубрике горела лампа. Парусник мерно покачивался на мягкой зыби. Немного погодя свет в кубрике погас. Это был последний огонек на корабле. Было тихо. Слышны были только волны, катившиеся в беспредельную даль.

Клаус скинул штаны и рубашку и положил их в лохань к остальным вещам, по-

том спустил лохань на веревке вниз и сам спустился к воде по якорному канату.

Когда, сделав несколько взмахов, он оглянулся, «Кап Финистерре» виднелся позади него, словно призрачное морское чудовище. Он скользнул вверх вместе с волной, потом вниз, потом еще раз вверх и снова вниз — и корабль исчез из виду.

Взмах за взмахом плыл он по волнам. Перед ним болталась лохань, слева цепочкой белых бус блестели фонари гавани. Когда он спускался с волной, огни исчезали, когда же следующая волна поднимала его вверх, огни снова светились, словно звезды, восходящие над морем.

Взмах за взмахом, взмах за взмахом, вверх и вниз плыл он долгим, размеренным ритмом. Волны были похожи на спины темных блестящих животных, плывших вместе с ним к берегу.

Мотив гармоники, на которой играл Яп, продолжал звучать в голове Клауса. Он думал также об Ачассо и о старике Мартине, которого отправили в Атахуальпу. Вдруг ему показалось, что он больше не чувствует теплого ветерка, доносящегося с берега. Соленый запах моря забивал все остальное. Как шумят, как однообразно плещутся волны! Когда же, наконец, берег? Его вдруг охватил страх.

Он не видел больше огней гавани. Волна подняла его высоко — они показались опять, но только на один миг, и видны были где-то очень низко. На гребне следующей волны он поднял голову и увидел, что огни как бы утопают в море, только один, самый высокий, был еще виден вдали и улыбался ему.

Клаус плыл машинально, считая взмахи. Шестьдесят взмахов — минута. Он все еще не видел намеченного места на берегу. Наконец, последний огонь погрузился в пучину и больше не появлялся.

Может быть, эти темные блестящие водяные холмы вовсе и не направляются к берегу? Здесь есть течение, о котором он ничего не знает. Может быть, оно подхватило его и несет в открытое море. К чему он тащит еще с собой эту лохань? Он почувствовал, как члены его коченеют. Беспрестанный гул волн, как молотом, бил его по голове. Да, несомненно, он несется в открытое море... И как огромны стали волны! Он только шевелил руками и ногами. Здесь, вероятно, было очень глубоко.

Бухта лежит под восемнадцатым градусом южной широты... Рыбаки видели здесь акул! Ганнес лежит в своей койке, а Линднес стоит опять, пожалуй, у фальшборта и смотрит на город. Завтра он все выскажет старику... Этот голубой туман и свет на волнах — это от луны.

И вот показались акулы.

Вот чудовищным треугольником поднимается одна из них над морем...

Огромный исполинский клык... Вот еще один! Нет, это не акулы — какая-то темная полоса земли, скалы и камни... Это Пунта де Пиедрас. Камни здесь острые, как отточенные ножи, и перемалывают в порошок все, что попадает на них.

Волна подхватила его. Пена. Брызги. Он захлебнулся в темноте и не знает уже, где верх, где низ, где его голова, где ноги.

Внезапный толчок... Неожиданный яркий свет вспыхивает возле него. Затем он слышит журчанье убегающей воды.

Он очутился на высоком сухом обломке скалы.

Тумана

Волны отхлынули. Они светились желтым светом.

Лишь когда Клаус почувствовал холод, он вспомнил, что он совсем голый. Но лучше быть без платья на берегу чем с полной лоханью одежды среди моря! На камне, однако, он не мог оставаться; надо было что-то предпринимать.

Надо идти в город. Но к кому он может зайти в таком виде? Если бы он знал, где

остановился Ачассо... Но едва ли он остался в городе. А если он и в городе, то его еще надо найти.

И так как ему было все равно, к кому обратиться, он решил постучаться в первый же дом.

Он пошел. Босиком идти было трудно, так как камни были скользкими и с острыми краями. Во многих местах ему приходилось пробираться вперед на четвереньках. При этом он вдруг заметил, что нога у него ноет и что выше колена на ней длинная рассеченная рана.

С минуту он посидел на куче водорослей, выброшенных волнами на берег, и остался бы там дольше и даже, пожалуй, заснул бы, если бы не холод.

Вскоре он набрел на тропинку.

Прибрежные камни кончились. Это было то самое песчаное место, которое они высмотрели с Ганнесом и где они собирались высадиться. Вдруг Клаус вздрогнул, на освещенной луной песчаном берегу мелькнули две тени. Это были собаки. Они, однако, больше испугались подходившего голого человека чем он их. Они лязкнули зубами и убежали быстрыми беззвучными прыжками в озаренную лунным светом дымку.

Клаус тут же увидел, чего здесь искали собаки: это было место, куда запряженная мулом тележка свозила мусор. Он наклонился над одной из этих куч и что-то поднял. Это оказалась соломенная шляпа, старая, рваная, с огромными полями. Держа шляпу в руке, он продолжал искать, не найдется ли там еще чего-нибудь, что можно на себя накинуть, но сколько он ни всматривался, он находил лишь кости, рыбью чешую, капустные кочерыжки, пустые банки из-под консервов и всякий другой хлам; не было ни одного куска материи или хоть старого мешка.

Он оставил в руках шляпу — это все-таки было кое-что. Остальное, быть может, найдется в другом месте. Он двинулся дальше.

Клаус увидел перед собой хижину, покосившуюся от времени и ветров. Низкая крыша ее и стены были облиты голубым лунным светом. Другая часть хижины была в тени. Клаус надел на голову шляпу и медленно подошел к хижине. Он боялся, что откуда-нибудь выскочит огромная собака и вцепится зубами ему в горло, но все было тихо, и в хижине ничто не шевелилось.

Он постучал в дверь. В хижине попрежнему было тихо. Он постучал еще раз, на этот раз громче, потом в третий раз. Ему послышалось, будто что-то зашевелилось внутри. Немного спустя послышался звонкий голос. Повидимому, это была девочка. Голос произнес:

— Квиэн эста? («Кто там?»).

Клаус кашлянул. Он не мог по-испански ответить на этот вопрос. Он не был к нему подготовлен. Но не мог же он предполагать, что очутится в таком виде перед чужой дверью. Девочка за дверью повторила вопрос «Квиэн эста»? Клаус, которому надо было что-то сказать, ответил по-немецки:

— Это я, откройте, пожалуйста!

В ответ на это кто-то отодвинул засов, и дверь открылась. К счастью, дверь была на неосвещенной луной стороне, так что Клаус стоял в тени. Свечка же, которую девочка держала в руке, не освещала так далеко. Эта девочка была не на много моложе Клауса. Он не мог все охватить с первого взгляда. Он видел свечку в маленькой коричневой руке и большие темные глаза, смотревшие на него в испуге. Клаус снял с головы шляпу и, прикрывшись ею, вошел в хижину.

Девочка отскочила к стене. На ней был какой-то платок. Цвет ее лица и голых ног, выглядывавших из-под платка, был такой же смуглый, как у Ачассо. «Это, наверное, индианка», — сообразил Клаус. Он очень боялся, что сейчас откроется дверь, выйдет кто-нибудь из мужчин и прогонит его ко всем чертям. Но там не было другой двери, и никого, кроме девочки, не было в хижине. Клаус заметил, как смуглокоричневое лицо девочки посерело, и понял, что испуг мешает ей что-нибудь сказать. Теперь Клаус напряг всю свою память и выпалил сразу все иностранные слова, какие слышал когда-либо и которые могли как-нибудь об'яснить его положение. Он знал, как сказать «да», «нет», «хорошо» и «плохо». Кроме того он знал еще такие слова, как «букс», что означает «корабль», «Пацифико», как называют жители Южной Америки Тихий океан, который выбросил его на берег. Он сказал «корабль» и прибавил к этому «плохо». Затем сказал «Тихий океан» и при этом сделал движение, с каким человек бросается в море и плывет к берегу. Это было так смешно, что в глазах девочки блеснула улыбка. Когда Клаусу вспомнилось еще название береговой косы, на которую его выбросило море, и он произнес «Пунта де Пиедрас», это слово послужило как бы волшебным

ключом. Девочка засмеялась. Но тотчас же лицо ее изменилось; она отбежала к постели, помещавшейся в другом углу, и принесла оттуда одеяло. Свечку, которую она держала в руках, она поставила на ящик, стоявший у этой постели. Клаус накинул на себя одеяло и осмотрелся. В комнате была еще одна постель — чуть-чуть возвышавшиеся над полом нары, на которых были разостланы овчины. В комнате еще стоял деревянный ящик из под макарон, или, может быть, из-под мыла. Кроме этих вещей в хижине ничего не было; она была заполнена только колеблющимися тенями. Клаус, почему-то вздрогнув, обернулся к открытой двери, точно эти тени проникли сюда со двора, из темной ночи.

Девочка заметила взгляд Клауса. Она подошла к двери, закрыла ее и задвинула засов. Клаусу сразу стало тепло, и он почувствовал, как забилось у него сердце. Он почувствовал себя так, как будто он у себя дома и нет на свете никакого «Кап Финистерре», никаких других людей и вообще ничего, кроме этой маленькой хижины, чужой девочки и его.

Надо было, однако, назвать себя. Он показал рукой на себя и произнес «Клаус». Девочка сразу поняла. Она осмотрела его с головы до ног и осторожно, точно боясь уронить и разбить это имя, повторила «Клаус». Это было первое слово, которое она произнесла. Вслед за этим она протянула ему руку и проговорила «Тутапа».

Тутапа? Красивое имя. Клаусу казалось, что он никогда не слышал более красивого. Клаус, Тутапа. Они еще несколько раз повторили оба имени, чтобы хорошо запомнить.

Клаусу захотелось присесть. Но в хижине не было ни одного стула, вообще ничего для сиденья кроме постелей. Он сел на одну из них, а Тутапа присела на корточки на полу, подобрав под себя ноги. Такая поза девочки его смутила; он хотел тотчас же встать и уступить ей свое место, а сам сесть на полу, но в этот момент Тутапа с изумлением посмотрела на его ногу. Клаус совсем забыл про рану, которую он получил, ударившись о камень. Он тоже увидел кровь, струящуюся из раны, и должен был послушаться Тутапы— лечь на постель и вытянуть ногу. Тутапа приподняла ее кверху, чтобы остановить кровь, принесла мешок и подостлала его. Это был простой рыбацкий мешок, много раз, однако, стиранный и выбеленный на солнце. Он был теперь совсем белым

Тутапа забинтовала ногу Клаусу.

и мягким. Когда Тутапа принесла воды и обмыла рану, оказалось, что она не очень опасна: над коленом шла длинная глубокая царапина, но разорваны были только кожа и мускулы, кости же остались невредимы. Тутапа открыла один из ящиков и стала искать что-нибудь подходящее для перевязки. Недолго думая она оторвала кусок от того, что попалось ей под руку. Это был рукав большой рубахи, такой широкий, что им удалось обернуть всю ногу. Затем она принесла еще один такой же мешок, тоже чистый и выбеленный солнцем, разорвала его на длинные бинты, которыми и забинтовала ногу. Клаусу казалось, что она уже чересчур заботлива. Но ему оставалось только лежать и тихо наблюдать за быстрыми движениями Тутапы. У нее были тонкие коричневосмуглые руки, и пальцы ее, которыми она чуть-чуть касалась его, были тоже тонки и нежны, хотя и работали очень уверенно. Завязав узлом концы бинта, она уложила голову Клауса повыше. Когда ей пришлось при этом наклониться над ним, она так близко коснулась его своими черными с синеватым отливом волосами, что они на мгновение целиком закрыли его лицо. Клаус вынужден был зажмурить глаза. Он потерял много крови по дороге и чувствовал себя очень слабым. У него начинался озноб. Он должен был стиснуть зубы, чтобы они не стучали друг о друга. Тутапа тепло укрыла его, а сама

присела на корточки у очага и подула на золу, которая тотчас же затлелась. Девочка была гибка и своими свешивающимися волосами и глазами, в которых теперь искрились огоньки, напоминала котенка. Когда она подложила сухие дрова на угли и языки пламени схватили подвешенный котелок, вся хижина озарилась красноватым светом. Это придало ей веселый, праздничный вид.

А за стеной шумело море.

Слышно было, как набегают волны и журча растекаются под хижиной, частью построенной на сваях.

Клаус не знал, как долго пролежал он так, не слыша ничего кроме шумящего моря. Тутапа вернулась и подала ему похлебку из рыбы и раков; он чувствовал, как каждая ложка, которую он проглатывал, пробегала теплом по его телу.

Когда Тутапа взяла у него из рук пустую тарелку и вернулась обратно, ему захотелось узнать, как это она живет здесь одна. Неужели у нее нет никого: отца или другого кого-нибудь близкого? Он обвел руками кругом, точно рисуя все пространство, занимаемое хижиной, потом указал на Тутапу. Она сразу поняла его и засыпала его множеством слов, которые были, скорее, музыкой, чем раздельными человеческими словами. Потом, однако, в них стало повторяться одно слово «падре» (отец). При этом она указывала на вторую постель, и в конце концов подбежала к двери, отодвинула засов и выбежала наружу, так что Клаус сразу вдруг остался один в хижине. Тотчас же, однако, она вернулась назад с большой рыбацкой сетью, которую показала ему, повторяя при этом опять «падре» и к тому еще «Пунта де Пиедрас».

Все таким образом стало ясно: у нее есть отец, он рыбак. Тутапа одна в хижине, потому что отец выехал сейчас на рыбную ловлю к Пунта де Пиедрас или куда-нибудь дальше, в открытое море. Поэтому-то его постель и пуста.

В свою очередь Тутапе хотелось узнать про Клауса: откуда он и куда идет и что думает с собой делать. Все это было трудно высказать, а еще труднее понять, и прошло много времени, и обоим пришлось много посмеяться, пока он понял, наконец, ее вопросы. Он рассказал ей по-немецки все, что мог, но тут настала ее очередь не понимать. Многое, впрочем, она уже знала. Он мог сказать ей название корабля, с которого он сюда добрался; Тутапе уже было знакомо это название; потом он описал далекий путь, проделанный парусником, прежде чем они прибыли в эту бухту. Он назвал Атлантический океан и мыс Горн и узнал при этом, что на ее языке мыс Горн называется «Кобио де Горнос». Он прибавил к этому еще «Пацифико» и проделал снова движение плавающего в море человека — этим было почти все сказано.

С помощью рук он изобразил движение бушующих волн, которые он там видел, фыркая при этом и шипя, подражая свисту бури, вздымающей эти волны все выше и выше. Все это она понимала, но этого было недостаточно для нее, и она продолжала расспрашивать, что еще было плохого в этом южном море. Вот, например, мыс Горн — скверное место. Тутапа нашла для мыса Горн еще и другие слова, означавшие, повидимому, «страшное», «ужасное», «зловещее».

А может быть, она знает и самого Ачассо? Он ведь тоже арауканец и рыбак с этого побережья. Может быть, она даже знает, где сейчас Ачассо.

— Ачассо? — спросил он.

И страшно удивился. У девочки стало совсем другое лицо и другие, чужие глаза. Клаус совсем растерялся.

— Ачассо араукано! — пояснил он и прибавил: — Ачассо буэно!

Но она молчала и, повидимому, вообще ничего не хотела слышать про Ачассо, только подергивала плечами при упоминании этого имени.

Что же это он наделал?

Она отвернулась от него. Подошла к очагу и опустилась там на корточки, как будто его совсем не было в хижине. «Что ж, — подумал он, — пора уходить». Он встал и протянул руку за своей шляпой, но когда она увидела, что он стоит с перевязкой на ноге и с одной только соломенной шляпой в руках, она вскочила и принесла ему рубаху, от которой прежде оторвала рукав. Но теперь он не хотел от нее ничего принимать. Она отбросила в сторону рубаху, от которой он отказался.

В глазах ее мелькнули искры.

— Что ты хочешь делать?! — вскрикнула она.

— Уйти, — ответил он.

— Куда?

— В Атахуальпу.

— В таком виде? Нет! Оставайся! — Она заставила его снова опуститься на нары. И вдруг им обоим стало ясно, что

они поняли друг друга, хотя каждый говорил на своем языке.

— Атахуальпа — плохо! — сказала она, и это был опять ее прежний тон. Клаус подумал, что ее недовольство имело связь не столько с самим Ачассо, про которого она, может быть, даже ничего и не знает, сколько с солдатами Саведры, которые в поисках Ачассо взбудоражили весь городок.

— Атахуальпа — плохо! — согласился он. — Саведра — очень плохо, а здесь...— он снова описал руками большой круг, обозначавший эту хижину, и сказал:

— Здесь хорошо!

Тутапа улыбнулась — это было тоже хорошо.

Хижина хороша, и Тутапа тоже хороша, но Клаусу нужно в Атахуальпу, где плохо. Он вздохнул, но это произошло, скорее, от усталости, которую он чувствовал во всем своем теле.

Пока он подыскивал еще какие-нибудь вещи, о которых можно было сказать «хорошо» или «плохо», на дворе послышался рев какого-то животного. Он доносился издали, но очень громко. Это не мог быть осел: рев был слишком сильный.

— Уна мула, — пояснила Тутапа.

Уна мула — мул — это тоже было нетрудно понять, — одно из тех животных, которых Клаус видел с корабля. Тут где-то его хлев, он проснулся среди ночи и ревет, может быть, с голоду.

— Ла мула де дон Родригес! — произнесла Тутапа, и это была уже целая фраза, которую Клаус понял.

Тутапа опять помирилась с ним. Она все так же заботливо подложила ему овчину под голову. При этом волосы ее снова коснулись его лица, и ему показалось, что из них посыпались искры. Он снова вздохнул и подумал про этого мула, и про дона Родригеса, и про то, что они с Тутапой — не одни на свете и что эта ночь должна скоро кончиться.

Клаус после своего ночного приключения чувствовал себя разбитым, и глаза у него слипались. Сквозь сон он слышал, что Тутапа говорит что-то, и видел, как она перешла со свечой в руке к другой постели. Потом она потушила свечу, и все погрузилось в глубокий мрак.

Когда Клаус проснулся, солнечные лучи били ему прямо в лицо. За окном стояло яркое утро; он протер глаза и осмотрелся. Тутапа сидела на корточках перед очагом и мешала деревянной ложкой в котелке.

Она принесла какие-то штаны, которые успела уже починить, рубашку, от которой он отказался ночью, но теперь должен был взять. Когда он надел их, оказалось, что штаны чересчур длинны, а вверху достают ему чуть не до плеч; к счастью, это были легкие рабочие штаны; они так часто стирались и стали такими тонкими, что их легко было сделать покороче: надо только сверху подвязать их веревкой, а длинные штанины Тутапа укоротит ножницами. От рубахи она отрезала и второй рукав, чтобы было покрасивее. Таким образом, у него были рубашка и штаны, а кроме того имелась еще и шляпа. Правда, обуви у него не было, но в общем он был настолько одет, что мог смело выйти к людям.

Едва он успел проглотить несколько ложек похлебки, как вдруг хижина задрожала и словно пушечный выстрел прокатился над бухтой. Горные ущелья ответили ему многократным эхом. Клаус подумал, что это начало одного из землетрясений, которые здесь бывают так часто. Однако, когда он выглянул в окно, он увидел белые клубы порохового дыма, подымавшиеся по скалистой стене, а немного поодаль катились вниз оторванные обломки скал, за которыми тянулись вниз по обрыву хвосты пыли.

— Лас минас, — проговорила Тутапа.

Рудники! Это началась работа в рудниках.

Клаус как можно скорее доел свою похлебку. Тутапа дала ему в руки ломоть хлеба и фляжу с пресной водой. Потом осторожно приоткрыла дверь и выглянула наружу. Она прошла с ним по дороге и указала тропинку, которая уходила в горы.

— Атахуальпа ун диа,—сказала Тутапа и показала один палец.

— Да, один день, — повторил Клаус и в последний раз взглянул на Тутапу. При ярком свете дня она показалась ему совсем большой девочкой. Она улыбалась, открыв сверкающие зубы. Но глаза ее были серьезны и даже печальны. Клаусу тоже было очень тоскливо на душе. Он крепко пожал ей руку. Когда он хотел повторить еще раз ее имя, оно застряло у него в горле.

Затем он пошел. Пройдя некоторое расстояние, наверху, где тропа делала поворот, он обернулся и помахал рукой. Пройдя еще немного, он очутился один среди серых скал. Тропа круто вела вверх, и каждый шаг, сделанный Клаусом, уводил его все дальше и дальше от маленькой хижины.

Один среди скал

Это была тропа для мулов, поднимавшаяся, извиваясь, вверх. Через час уже город лежал глубоко внизу. Крошечные крыши из гофрированного железа сверкали на жарком солнце.

Бухта с судами виднелась внизу точно игрушечная. Был виден норвежский парусник, а дальше в море — «Кап Финистерре», готовившийся к отплытию. Его паруса были наполовину свернуты, на реях шевелились матросы. Двое на фокарее были, по всем вероятиям, Яп и Кристер; третий выглядевший не больше крупной мухи, был, кажется, Линднес. А Ганнеса совсем уж нельзя было разглядеть. Думает ли он о Клаусе и раскаивается ли, что не поплыл с ним?

Тропа вела дальше. По одну ее сторону возвышались скалы, по другую — крутые скаты из валунов и гальки, обрывающиеся почти у самого берега. Нигде не было видно ни единого зеленого стебелька. Однообразный бурый цвет камней утомлял глаза. Внизу, налево, виднелось море. Голова кружилась от этой сказочной картины. Казалось, будто голубая морская гладь тоже вздымается кверху, но это, разумеется, был только обман зрения.

А солнце висело на небе белым раскаленным шаром. Его лучи падали на землю так отвесно, что скалы не давали ни малейшей тени. К счастью, на Клаусе была его шляпа, доходившая ему чуть не до плеч; кроме того у него была фляга с водой. Дальше тропа вела мимо круто вздымающихся скал, заслонявших вид на море. Изредка в них открывались небольшие просветы. Потом тропа затерялась в русле высохшей реки. Когда бухта с судами и с «Кап Финистерре» совсем скрылась из глаз, Клаус почувствовал все свое одиночество среди скалистой пустыни. Тропа все еще вела вверх. Речное русло все суживалось, и, в конце концов, превращалось в причудливо изрытую трещинами расселину; Клаусу показалось, что тропа спускается в обратном направлении. Он взобрался по высокому скалистому берегу до самой вершины и очутился среди пампы. Но это не была пампа с сочной травой, достигающей всаднику до стремян, где дикие лошади скачут по равнине, подобно кораблям, бороздящим морские волны, как он читал это в описаниях путешественников. Эта голая, сожженная солнцем местность напоминала застывший лунный ландшафт; серая пыльная окраска делала ее, пожалуй, еще более жуткой и безжизненной. Здесь никогда никто не жил. Люди приходили сюда лишь для того, чтобы соскрести минерал с каменистой почвы и навсегда покинуть эти места.

Клаус вскоре совершенно потерял тропу. Над ним парил коршун-стервятник, точно застывший в прозрачном воздухе, и, кроме него, вокруг не видно было ничего живого. От однообразного цвета пустыни начинало рябить в глазах; она казалась такой же бесцветной, как и небо, с белым солнечным шаром на нем.

Куда он ни обращал свой взор, он видел все то же пыльно-серое марево. Он вскоре заметил, что пустыня стала сама колебаться и превратилась в туманное кольцо, кружившееся вокруг него с все возрастающей быстротой.

Путь, по которому он шел, оказался в конце концов широкой дугой, которую он описал. Он потерял на это много времени. В конце концов он нашел еще другую тропу, которая привела его обратно к верхнему краю берега. В одном месте тропа разветвлялась: одна вела вверх, другая — вниз. Клаус избрал направление вниз. Ему было ясно, что он должен держаться моря, даже если бы пришлось сделать крюк. Спуск пошел быстрее, чем утренний под'ем, и он достиг песчаного берега как раз, когда солнце коснулось уже горизонта. Алым заревом пылали нагроможденные друг на друга громады скал, стоявшие кругом словно вели-

каны с косматыми головами. Они свысока смотрели на карлика, забравшегося в их пустынное царство.

Идти стало труднее—ноги Клауса глубоко утопали в мягком песке. Лишь у самого берега на влажной почве можно было продвигаться вперед. Дороги и без того нельзя было уже различить в возраставшей темноте. Темный туман стлался по берегу, и вскоре виден был лишь голубоватый отсвет высоко пенящихся волн прилива. Стена скал придвинулась к самому берегу, и Клаусу приходилось уже несколько раз обходить эти набегающие волны и отбегать в сторону. Вдруг он очутился по пояс в воде. Хлопья пены брызгали ему в лицо, и положение его оказалось опасным. Когда вода отхлынула, ему удалось ухватиться за камень и удержаться. Когда после этого он встал, весь промокший, он побежал изо всех сил вперед до места, где берег был пошире. Там, в гряду скал, врезалось ущелье, и посредине его стоял один из каменных великанов. Эта скала казалась самой огромной и дикой из всех. У Клауса не хватило храбрости добраться до нее. Он отыскал себе песчаный пригорок и там прилег.

Перед ним расстилалось море, ревущие волны, и шум их был так силен, что если бы поблизости был еще кто-нибудь, Клаус не мог бы с ним разговаривать. Все вокруг него было огромно, а сам он был не больше крошечной песчинки; эту песчинку мог унести ветер, и никто бы не заметил этого.

Он смертельно устал, но не мог успокоиться. Он достал остатки взятого с собой хлеба и с'ел. Во фляге оставалось уже мало воды, и он должен был беречь ее. Он сделал лишь маленький глоток. Когда он перекусил, смутная тревога заставила его снова подняться. Он стоял в ночной темноте и смотрел на гребни пены, набегавшие на берег и разбивавшиеся у его ног. Он вспомнил про «Кап Финистерре», который, наверное, уже вышел в море и несся где-то вдали; о своей койке, которая была у него на корабле и которой он лишился навсегда. Чего искал он в стране, представлявшей собой голую пустыню?

Где может быть сейчас Ачассо? Где находится эта Калета Вьеха? Клаус хорошо запомнил это название, которое тогда, в канатном ящике, Ачассо так торопливо стер со стены. Как ему попасть туда, и что он там будет делать? Что вообще ожидает его в этой ужасной стране?

Вдруг в глазах у него потемнело.

Он очнулся, лежа в песке, закрыв лицо руками. Как это произошло? Может быть, ветер опрокинул его? Тоска по людям, по теплу, по крову сжала его сердце. Его охватила тоска по дому, тоска по матери; он весь дрожал. И когда после этого скала, возвышавшаяся сзади, стала звать его, что-то завыло и песчаный берег, на котором он лежал, заколыхался и запылил, — ужас охватил его. У него хватило еще сил закрыться своей огромной шляпой, и он остался лежать на песке.

То, что испугало Клауса, был береговой ветер, вызванный неравномерным охлаждением воздуха над морем и над скалистой пустыней. Ветер этот каждую ночь спускался с высот и с воем проносился к морю сквозь ущелья и расселины скал.

Этот же ветер, забросавший Клауса горстями песка, с воем понесся дальше, надувая паруса небольшой флотилии рыбачьих ботов. Это были те самые боты, что накануне, в полдень, стояли неподалеку от Буэнвиенто и, недолго задержавшись там, взяли курс на север.

Первый из этих ботов вел Антонио. Рядом с ним сидел Ачассо. Второй бот принадлежал Пингвину; с ним были оба главаря селитряных рабочих—Мачо и Патакоха. За ними следовало еще пять ботов, те, что Ачассо привел с юга.

— У меня на зубах песок, — заметил Ачассо.

— Ветер часто заносит песок далеко. Но все же, я думаю, берег должен быть близко. Мы сейчас у Кумбры.

— Да, у Кумбры!

Зоркие глаза Ачассо не могли проникнуть сквозь темноту; однако он ясно различал впереди скалу странной формы, напоминавшую фигуру великана.

Много лет назад голодный поход из пампы дошел до этого места побережья. Это было в 1918 году; мир, только что закончивший долголетнюю войну, не нуждался еще в услугах селитряных рабочих. Они жили в горняцких поселках, и там им было оставлено одно право — голодать. Некоторые из участников так и остались лежать в этом месте, не будучи в силах продолжать поход. Товарищи сложили их у подножья скалы и прикрыли камнями. Среди них находился отец Ачассо.

В боте Пингвина говорили полусловами и намеками. У Мачо и Патакохи были некоторые возражения против предстоящего собрания, и если бы их пригласил не Антонио,

они бы вообще не явились. Пингвин, согласившийся с тем, что собрание у него в доме назначено необдуманно и слишком рано, предоставил рабочему комитету в Буэнвиенто принять товарищей, прибывших из разных мест по приглашению Морено. Сам он отправился из Атахуальпы в пампу, разыскал там Патакоху и Мачо и сообщил им о появлении Ачассо и о его плане. Оттуда они отправились вместе, чтобы в Буэнвиенто пересесть в бот шоло, которого Пингвин направил туда. Тут им оказала услугу больная нога старика Патакохи—из-за нее они немного запоздали; когда они добрались до скал, круто свисающих над Буэнвиенто, и стали спускаться с них, они увидали всадников Саведры, окутанных облаком пыли. Укрывшись в расселине между скалами, они наблюдали налет на Буэнвиенто. Они видели, как дом Пингвина был окружен и как затем полицейские заставили шоло подплыть к берегу.

Они спустились только ночью. Когда шоло посадил их к себе в бот и вывез в открытое море для присоединения к остальным, было уже поздно, чтобы добраться до цели в ту же ночь. Лишь на следующий день боты взяли курс на Пунта де Пескас. У этой косы, расположенной у входа в Атахуальпскую бухту, несколько лет назад сел на мель большой пароход. Береговую полосу близ заброшенного остова этого судна и избрал Ачассо местом собрания. Это был один из пунктов, входивших в намеченную им сеть хорошо укрытых мест, пригодных для встреч и переездов.

Боты оставили Кумбру позади. Еще несколько часов плыли они на парусах вдоль побережья, подгоняемые береговым бризом. Об'ехав Пунту, они увидали остов корабля, торчащий носом кверху.

Боты подплывали один за другим к железной громадине. Опустив паруса и мачты, боты проскальзывали в пролом судна и сразу попадали в тихую воду, в небольшой бассейн.

Рыбаки высадились на берег. На узенькой песчаной полосе они разложили костер и подвесили над ним большой котел. Расположившись вокруг огня, они приступили к беседе.

Патакоха и Мачо поздоровались с Ачассо. Было довольно трудно рассчитывать на полное сочувствие со стороны обоих этих осторожных организаторов по отношению к человеку, который вел себя на побережье как летучий голландец. Как раз то, что создало Ачассо славу и выделяло его среди рыбаков, заставляло их относиться к нему с осторожностью.

Но он был чертовски прав, утверждая, что их организациям очень не хватает хорошей связи. Притом все пять рыбаков, приведенные им с юга, были вполне реальным фактом. И пять ботов, заполнивших почти всю небольшую бухту, были настоящие, красивые быстроходные рыбачьи боты.

Антонио сказал несколько слов о недостаточной связи между рабочими организациями и заявил, что рыбаки готовы предоставить свои силы и свои боты делу освобождения.

Отвечал Патакоха, сухой, длинный и жесткий, как кнутовище, старик с коричневой кожей. Он сидел на земле, протянув вперед свою больную ногу. Рядом с ним стоял Мачо, прозванный так благодаря своему коренастому телосложению и силе хорошего мула.

Патакоха приветствовал предложение рыбаков. Он рад, что рыбаки понимают переживаемое время и то, что им необходимо бороться сообща, плечом к плечу, с рабочими. Но необходима совершенно надежная связь, которая должна быть продолжена до самой столицы и центров организации.

И Ачассо привел с собой пять рыбаков. К ним еще надо было добавить Антонио и Пингвина.

— Таким образом, для начала у нас имеется семь ботов, — заявил Ачассо. — Чтобы не слишком отвлекать рыбака от его работы, я рассчитываю по шестьдесят морских миль на один этап для каждого бота. С пятью ботами мы охватим расстояние до Калета Вьеха и можем обслужить все это пространство. Двух остающихся ботов мало для связи со столицей, но все же можно будет устроить с их помощью непрерывное сообщение туда и обратно. Во всяком случае, мы можем рассчитывать лишь на двухнедельную связь.

— Пока этого достаточно. Надо возобновить наши организации, а это займет порядочно времени, — заявил Патакоха.

Ачассо тут же перешел к распределению этапов. Наиболее трудную и рискованную часть задачи — сообщение со столицей — разделили между собой Антонио со своим приятелем-рыбаком. Этот рыбак был Лобо, скупой на слова, угрюмый человек.

Было решено, что Мачо останется в пампе, а Патакоха с ботами поплывет в Валь-

парайзо, чтобы там восстановить связь с партией.

Этим были разрешены все вопросы. Но у Ачассо было еще что-то на уме.

— Налет на Буэнвиенто и особый интерес жандармов к дому Пингвина заставляют меня призадуматься!.. — проговорил он. А потом продолжал: — Этот Морено...

— Что Морено? — вспыхнул Мачо.

— Вот про это я и хотел спросить: что такое Морено?

— Морено — старый сотрудник в пампе. Он показал себя в самых трудных положениях.

Все же Ачассо не успокоила эта рекомендация.

— В нашу организацию связи Морено не должен быть посвящен. Таково мое требование, — заявил он.

Когда боты выплывали из пролома в открытое море, уже начинало светать. И когда рыбаки и рабочие оглянулись назад, они увидали над бухтой хижины Атахуальпы. На одной из выступающих высоких скал возвышался маяк, уже давно погашенный и бездействующий.

Когда Клаус проснулся, был ослепительно яркий день и солнечные лучи жгли немилосердно. Он сдвинул шляпу с лица и потянулся. Он посмотрел на море. Оно было пусто на всем пространстве, доступном для взгляда.

Он долго смотрел в голубое пространство, прежде чем встать и стряхнуть с себя песок. Нога его отдохнула; крепко наложенная повязка еще держалась. Когда он взял в руки флягу с водой, в ней забулькало только немного на дне. Ему страшно захотелось пить, и он охотно осушил бы ее до дна. Но он подумал о целом дне, который был впереди, и удержался. Он смочил только язык и проглотил несколько капель.

Он собирался было уже двинуться в путь, как вдруг заметил в нескольких метрах от своего ночного ложа, у подножья скалы, какие-то кучи, сложенные, как ему показалось, чьей-то рукой. Он подошел ближе и остолбенел. Это были сложенные друг на друга высохшие и окаменевшие в сухом воздухе трупы. Частью они были засыпаны песком, частью открыты. Он видел ясно пару ног. Сквозь потрескавшуюся обувь выглядывали большие пальцы. Клаусу снова вспомнился Саведра, хотя как раз здесь он был не при чем. Клаус был рад ясному дню, Ему не хотелось оставаться дольше в месте, где встречаются такие страшные вещи. Он мигом собрался в путь и быстро зашагал прочь.

День был такой же, как и вчера: небо такое же яркое, воздух такой же сухой, и земля под ногами такая же горячая. Ящерицы толщиной в человеческую руку перебегали ему дорогу; дальше он встретил множество грифов с голыми красными шеями, сидевших на скалах. Они сидели сгорбившись, без всякого движения, точно камни.

Немного дальше, когда он пошел по тропе, которая снова уводила его от моря на высокие скалы, он понял, чем заняты эти огромные птицы. Он увидал черный растерзанный труп мула, лежавший на дороге, потом еще один. Приближение его вспугивало птиц, но они не улетали, а только несколько раз грузно взмахивали крыльями, когда он подходил, и тотчас же снова опускались на свою добычу.

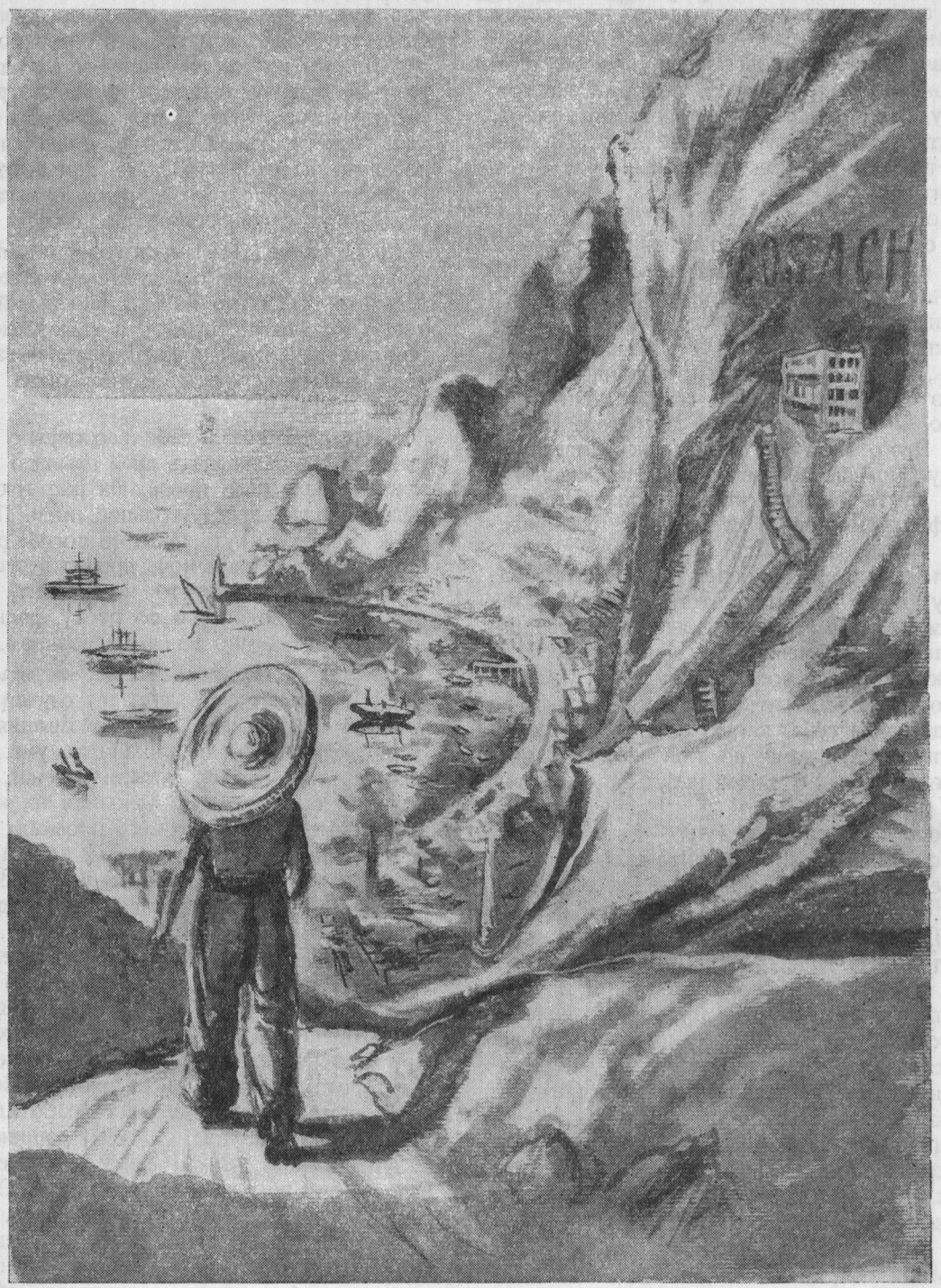
Немного дальше Клаус увидал людей.

В стороне от тропы стояла запряженная мулом тележка; трое людей грузили на нее камни. Они казались огромными в этом ясном, абсолютно сухом воздухе. Тележка с запряженными в нее мулами и с людьми выделялась над горизонтом, как будто находилась на скалах. Эти люди с тележкой были еще далеко, и Клаус нескоро дошел до них. Они смотрели на него с изумлением. Их поразил вид этого босоногого мальчугана в широченных штанах и в огромной шляпе. Сами они, впрочем, были одеты не многим лучше чем Клаус: мускулистые руки их были голы, на теле были одни лохмотья. Они были сплошь усыпаны белой мельчайшей пылью, и только коричневые скулы виднелись сквозь этот белый налет.

То, что Клаус видел перед собой, представляло не обычную форму добычи минерала: обыкновенно места, где добывают селитру, выглядят иначе. Тележка, стоявшая перед ним, была одной из тех, что высылаются из селитряных копей, чтоб привезти пробы минерала из более отдаленных, еще не разведанных участков. Клаус никак не мог об'ясниться с этими людьми. Однако они указали ему путь в Атахуальпу, и когда он показал им свою пустую флягу, они дали ему напиться и снабдили небольшим куском мяса, твердым и жестким, как подошва.

Клаус оставил тележку за собой.

Обернувшись после целого часа ходьбы, он все еще видел ее: словно мираж стояла она на краю пустыни. Вскоре он набрел на широкую изъезженную проезжую дорогу, какими связаны обычно селитряные копи с



Внизу виднелся большой залив с множеством судов на якоре.

гаванью. Перед глазами его снова открылось море. Совсем неожиданно меж выступов скал, раздвинувшихся перед ним, точно кулисы, развернулась лазурная гладь. Внизу виднелся большой залив с множеством судов на якоре и город, похожий на тот, откуда он пришел, с дощатыми домами, крытыми гофрированным железом. Он был раз в десять или двадцать больше чем Буэнвиенто.

Когда он увидел под собой этот городок, его охватило чувство собственного величия: так велика была разница между его собственным ростом и точками, какими казались люди, копошившиеся внизу, в пыли и в дыму портового городка. Весь городок, казалось, мог бы уместиться в кармане у Клауса, этот город карликов, со всем, что в нем было, не исключая самого диктатора Саведры! Этого мальчика с пальчик—Саведру—Клаус мог бы поставить себе на ладонь, и там пусть он кружится и топает своими ботфортами, кричит и командует, сколько ему заблагорассудится!

Он останется на берегу, найдет там работу, хотя бы вот в этом красивом доме со множеством окон, большой стеклянной верандой и каменной лестницей, спускающейся прямо к морю. Оттуда он каждое утро может ходить купаться. Клаус не представлял себе, какую работу ему предложат в этом доме, но, конечно, речь могла идти лишь о какой-нибудь ответственной должности.

Дорога вела Клауса все дальше вниз. Спуск был легкий; он пошел скорее и стал даже насвистывать какую-то песенку. Но чем глубже он спускался вниз, чем больше давили его возвышавшиеся позади громады скал, тем больше падал он духом и скромнее становились его требования. Вот он очутился почти на одном уровне со шпилем церковки; одинокий дом, выстроенный на плоской вершине скалы, виднелся уже высоко над ним, а внизу расстилался город. Можно было различать отдельные линии улиц; шум гавани уже долетал до него. Над красивым домом, выстроенным из железа и стекла, во всю длину красовались огромные буквы «СО АСН». Это янки, они прибыли как раз вовремя, чтоб загребать здесь деньги.

Во всяком случае, можно найти и другую работу, говорил он себе. В конце концов, он может делать то же, что предполагал Яп. Он ведь умеет плести канаты, сплетать тросы из проволоки. Такая работа всегда нужна в гавани и в копях. Он может еще, если нужно, красить высокие железные трубы — это тоже занятие для безработного моряка. Во всяком случае, для начала это годится, а потом можно будет осмотреться и отправиться в глубь страны, чтобы попытать там счастья. Пожалуй, придется идти довольно далеко, туда, где кончается пустыня и начинаются каучуковые леса, где реки несут с собой золотой песок.

Но тут перед ним вырос город с запутанной сетью улиц и оглушающим шумом. А ведь это был всего только маленький портовый городишко, правда, с железнодорожной станцией и с множеством прибывавших и отплывавших судов. В нем было тысяч шесть жителей.

Клаус чувствовал себя бесконечно усталым. Он сто двенадцать дней плыл по морю, причем две недели провел на дне трюма, в облаках клубящейся угольной пыли. По пути к берегу он чуть было не погиб: разбил себе ногу, два дня и ночь провел в пустыне. В желудке у него пусто, нога болит, босые ступни едва волочатся по песку, раскаленному немилосердно палящим солнцем.

«Может быть, удастся еще чистить улицы, а то, может быть, выпадет случай снести кому-нибудь чемодан»,—размышлял он. Эти мысли лениво возникали в уме. Мозг его, казалось, высох, и люди и вещи, мимо которых он проходил, походили на какие-то неясные тени. Мимо него проехала большая повозка на двух огромных колесах, запряженная мулами. Какой-то человечек нес на коромысле два ведра с водой и кричал «агва», какая-то женщина вышла из дому, взяла у водоноса ведро воды и дала ему за это монету. Клаусу хотелось пить, но у него не было ни гроша, а ведро воды стоило в этом городе двадцать центаво. Он находился в нагорной стороне города. К нижней части города, построенной на плоском берегу, вели лестницы; в одном месте работала даже под'емная машина. Об этой машине ему не приходилось даже и мечтать, по лестницам же ему не хотелось спускаться. Он перешел через железнодорожный путь, проходивший тут же между домами, и едва не споткнулся о шпалу. Он дошел до сарая, крытого гофрированным железом, обошел его, растянулся позади его на голой земле и тотчас же заснул.

Несколько часов он спал, как убитый.

(Продолжение в следующем номере).

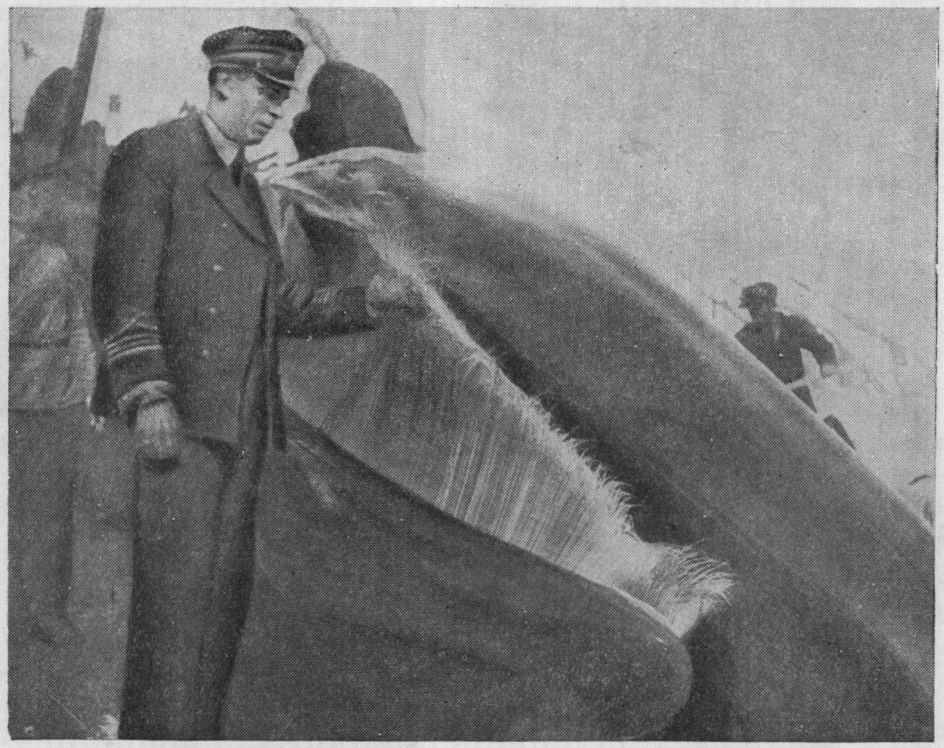
КИТОБОИ

А. Некрасов

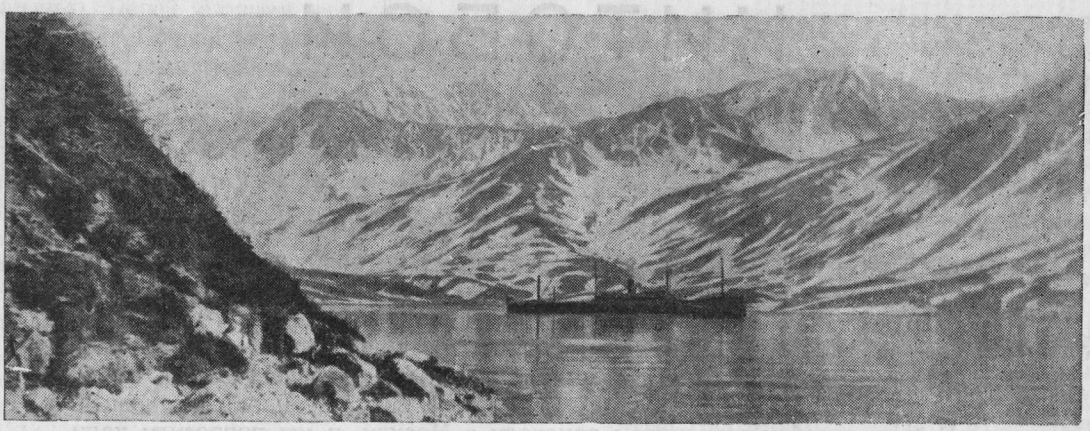
«В Тихом океане три года работает наша китобойная флотилия в составе трех китобойцев и матки «Алеут», представляющей собой завод по переработке китов. В 1933 году флотилия добыла 203 кита, в 1934—339, а в 1935—487 китов. Флотилией командует товарищ Дудник, который «два года подряд основательно перевыполняет план производства», — сказал нарком пищевой промышленности тов. Микоян на совещании стахановцев.

Сейчас китобои-стахановцы приехали в Москву, и мы попросили капитана «Алеута» А. И. Дудника рассказать о работе флотилии.

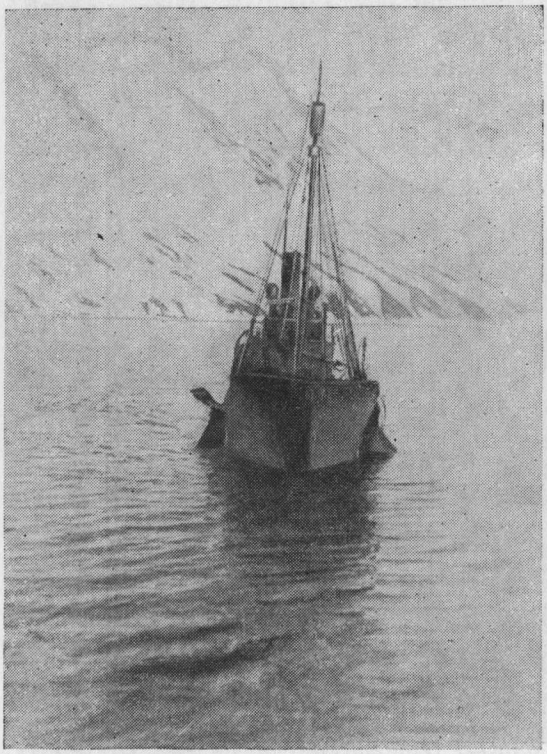
Товарищ Дудник не только рассказал, как работает флотилия, но дал еще целую пачку фотографий. Самые интересные из них мы здесь помещаем.



1. На этой фотографии снят капитан Дудник рядом с китом, которого только-что привели и подняли на палубу «Алеута». Самого кита не видно. Видна только голова кита. Кит лежит кверху брюхом, и поэтому его нижняя челюсть оказалась сверху. На верхней челюсти хорошо виден китовый ус, при помощи которого кит питается. Кит набирает в рот воды, закрывает рот и процеживает воду сквозь усы как сквозь сито. Огромным языком кит слизывает маленьких рыбешек и рачков, запутавшихся в усах.

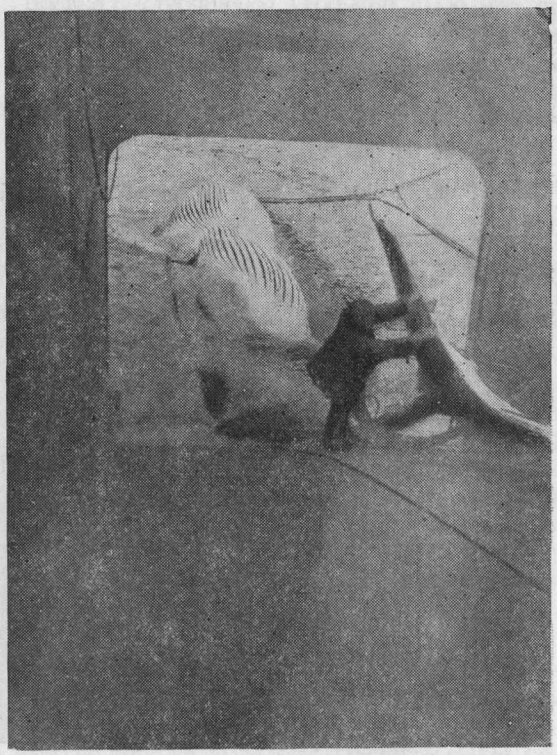


2. Это «Алеут». Он стоит у берегов Камчатки, в маленькой бухточке, вклинившейся между сопками, и ждет китобойцев, которые ушли промышлять китов. На сопках еще лежит снег. Летом он растает, и сопки покроются зеленью. Но китобойцы не дожидаются лета: они выходят на промысел сразу, как только море очищается ото льда, и работают до поздней ночи.

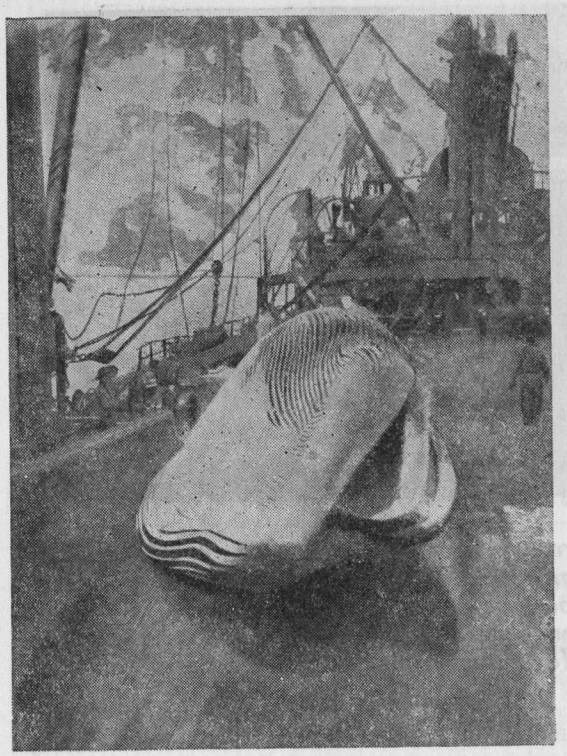


3. Вот китобоец «Трудфронт» ведет к «Алеуту» сразу двух китов. Китобоец — маленькое быстроходное судно.

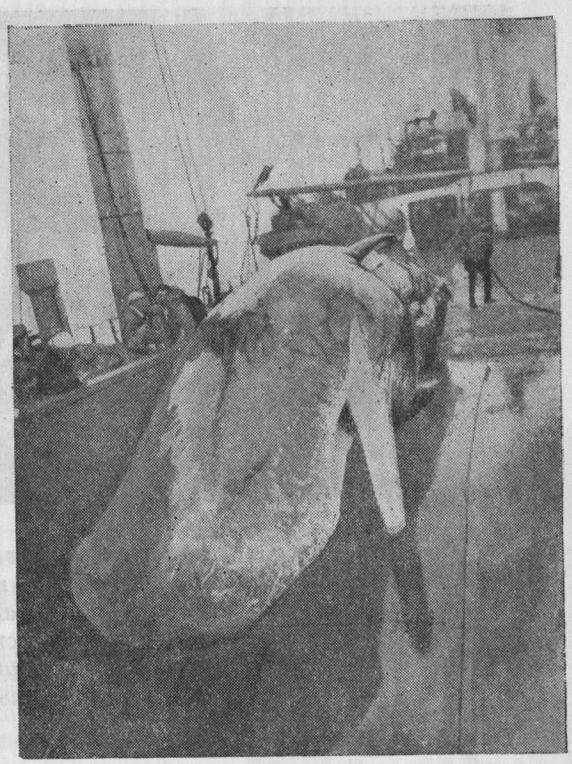
На мачте китобойца устроена наблюдательная бочка. На носу стоит гарпунная пушка. Китов почти не видно. Видны только хвосты, крепко привязанные к бортам. Это потому, что киты затонули.



4. Наконец, подвели кита и начали поднимать на «Алеут». Для этого в корме «Алеута» устроен наклонный туннель — слип. Кита зацепляют за хвост и лебедками тянут на палубу. В туннеле стоит матрос и подправляет хвост руками. Полосатый пузырь — это брюхо кита-полосатика. Этого кита вели издалека и, чтобы он не тонул, накачали воздухом.



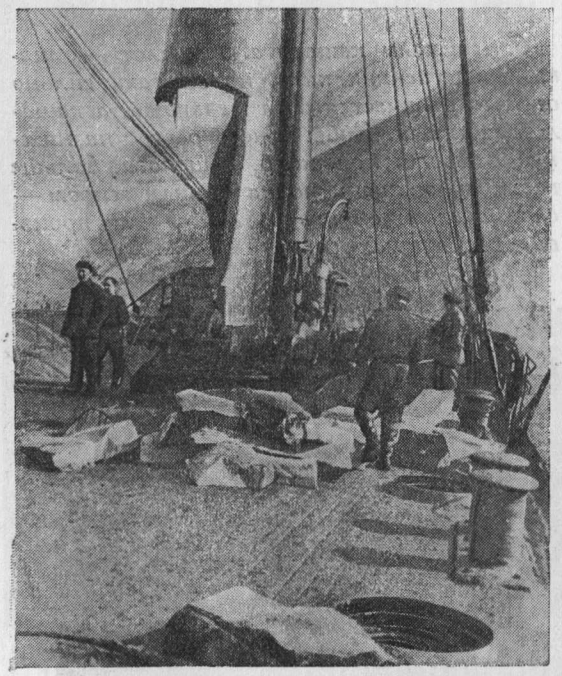
5. Теперь полосатика уже почти подняли. Вот он вытянулся вдоль палубы. Его хвост уже далеко, у самых лебедок, а голова еще на слипе. Кажется, что кит не очень большой, но это только потому, что на «Алеуте» очень просторная палуба. Из кита вытапливают жир, мясо идет на консервы, все остальное перерабатывается на удобрение.



6. Поймали кашалота. Кашалот — близкий родственник кита, но все-таки сильно от него отличается. Кит беззубый, а кашалот зубастый. Зубы у него растут на нижней челюсти. Голова у кашалота больше трети туловища и полна особым жиром — спермацетом; он употребляется для производства лучших сортов мыла.

7. У каждого кита своя повадка. Каждый кит по-своему спасается от преследования и по-разному ведет себя, когда его ранят. Капитан китобойца должен знать заранее, как подойти к киту, как его догнать и как поскорее его убить. Лучший капитан советской китобойной флотилии — тов. Зарва. Он уже третий сезон идет впереди всех и за последний год добыл 193 кита. Здесь он снят около гарпунной пушки на своем китобойце.

8. Китобойцы гоняются в море за китами, убивают их и приводят к «Алеуту». Каждый день на палубу поднимают по нескольку китов, и с утра до вечера идет работа. На кормовой части палубы лежат огромные туши; тут с них снимают кожу вместе с салом и, разделив туши по суставам, волокут лебедками на нос «Алеута». На снимке показано, как тащат кусок туши. Палки, похожие на хоккейные клюшки, которые держат матросы,— это специальные ножи для разделки китов.



9. Сало растаскивают лебедками, рвут на куски и бросают в жиротопные котлы, которые помещаются внизу, под рабочей палубой. На снимке видны куски сала и круглые отверстия в палубе—горловины жиротопных котлов. Слева, около мачты, висит поднятый на лебедке кусок китовой кожи.

10. На «Алеуте» до последнего кусочка убрали китовые туши, будто он готовится встретить праздник, а не обычный трудовой день. Нелегко работать китобойцам. Зато осенью, уставшие за лето, они раз'едутся по курортам отдыхать до весны, до нового китобойного сезона.

НАУЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ НАУК
БИОЛОГИЧЕСКИХ, ГЕОГРАФИЧЕСКИХ,
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ

БИОЛОГИЯ

Выхухолевый заповедник

Выхухоль—ценный пушной зверь—вымирает. Человек почти уничтожил ее. Она осталась только в Советском союзе: кое-где на Волге, на Дону, на Урале. Да и здесь она очень редка. Сейчас советское правительство принимает экстренные меры, чтобы спасти остатки выхухоли от истребления и помочь ей расплодиться опять. Совсем недавно в Воронежской области создан выхухолевый заповедник. Во владение выхухоли отданы 18 тысяч гектаров в лесистой пойме реки Хопер, от села Алферовки до села Никандровки. Тут все, что любит выхухоль: заросшие мелкие озера-старицы, чащи тростника и осоки, тучи мелкой водяной живности и лягушек, берега в черемухе и шиповнике. Специалисты надеются, что выхухоль здесь быстро размножится и отсюда пойдет возрождение пушных выхухолевых богатств.

Пятитысячелетний сон

Два месяца назад конференция Академии наук в Москве выслушала, казалось бы, невероятное сообщение. Научные работники на станции Сковородино, на Дальнем Востоке, изучали вечную мерзлоту. Они взяли пробу с глубины 6 метров. Твердая, оледенелая земля, разбивающаяся со звоном, если ударить по ней молотком, оттаяла в лаборатории — в первый раз за много тысяч лет. И вместе с ней оттаяли мелкие рачки, водоросли, водяные насекомые: целое население торфяного болота!

Когда было на этом давным-давно мерзлом месте болото? Вряд ли меньше пяти тысяч лет назад. Может быть, еще раньше. Ожили живые существа, спавшие мертвым, ледяным сном пять тысяч лет! Ожили и стали жить дальше с того самого момента, на котором замерзли, как будто это произошло только вчера. Молодые жадно пожирали пищу и росли; самки отложили в лабораторном сосуде яйца, которые не успели отложить тогда, когда на берегах болота охотились с костяными стрелами и копьями бродячие племена, одетые в звериные шкуры.

И каждому из оживших было пять тысяч лет!..

Это были самые старые живые существа на земле.

С ними вышло так, как в сказке о спящей царевне, уколовшейся веретеном и заснувшей со всем своим замком; только царевна спала сто лет, а эти — десять тысяч.

Ученые, выслушавшие сообщение сковородинских работников, вспомнили, что еще 30 лет назад, когда нашли оледеневший труп мамонта на реке Березовке в Сибири, тогда также ожили микроскопические бактерии, оставшиеся на волосах мамонта.

Трудно сейчас даже говорить о том, к чему ведет сковородинское открытие. Повидимому, многие, и притом довольно сложные, живые существа могут выносить долгое замораживание. Это не сон и даже не спячка, какая бывает зимой: жизнь скорее всего во время такого замораживания останавливается совсем. Животные мертвы, но они могут ожить, потому что в теле их ничего не повреждено.

Московский ученый Брюхоненко недавно сказал: «Если когда-нибудь отыщут погибшего на далеком севере Амундсена и окажется, что он замерз во время вынужденной посадки, то пусть его оставят там, в вечной мерзлоте, через 25 или 50 лет мы найдем способ его оживить».

Кто может сказать теперь, что это только несбыточная мечта!

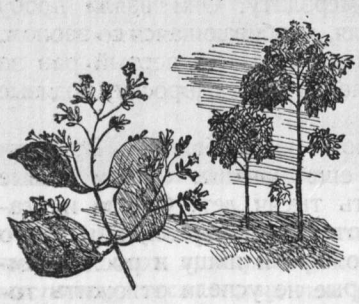
Хинное дерево на Кавказе

Немногие растения имеют такую замечательную историю, как хинное дерево. В его коре находится хинин—главное средство от малярии. Малярией всегда болели миллионы людей. Высчитано, что сейчас на всей земле больны или были больны малярией 800 миллионов человек. А хинных деревьев было немного. Они росли только в Южной Америке, в Кордильерах. Там их не умели правильно разводить, но оберегали ревностно: ведь они приносили сказочные доходы.

В недоступные долины Кордильеров, где были хинные плантации, много раз пробирались смельчаки из других стран и пробовали похитить хинное дерево. Удалось это в конце концов немцу на голландской службе, Карлу Гасскарлю. Он привез молодые деревца на остров Яву, голландскую колонию, и дело там пошло так хорошо, что скоро голландская Ява стала мировой хинной лавкой, и за хинин во всех странах приходится платить столько, сколько запросят голландские купцы.

Много раз делались попытки освободить СССР от дани голландским купцам, но хинное дерево у нас никак не росло.

Недавно наши ученые сделали важное открытие, что хинин есть не только в коре хинного дерева, но и в стеблях и даже в корнях. А раз так, незачем непременно ждать взрослых деревьев: хинин можно добывать и из двухлеток. Взрослых деревьев для семян потребуется немного — их можно вырастить в теплице. В сухумском питомнике высеяли семена хинных деревьев, привезенных академиком Вавиловым из Боливии. Зимой зябкие растения выдержали в теплице, на лето высадили в грунт. Сейчас в Сухуме находится первая советская хинная плантация. Она занимает уже полгектара.



Ф И З И К А

Беззвучные звуки

16 воздушных колебаний в секунду вызывают ощущение очень низкого, басового звука, похожего на удар или рев. Чем чаще колебания воздуха, тем выше звук. Самый высокий, тончайший звук мы различаем при 20 000 колебаний в секунду. Ну, а если еще увеличить число колебаний? Звук исчезнет. Исчезнет совсем. Можно как угодно усиливать колебания воздуха — мы все равно не услышим ничего. Настанет такая же полная тишина, как если бы воздух оставался совсем неподвижен. Эти беззучные звуки назвали ультразвуками. Научились получать ультразвуки при огромной частоте колебаний—до миллиона в секунду. Скоро выяснились их замечательные свойства: невидимый и неслышный, как бы несуществующий, ультразвук убивал мелких рыб и лягушек; человек чувствовал мучительную боль, разрушались красные шарики в крови.

Все это уже было известно. Но вот что ново.

В рентгеновском институте выдерживали одну минуту в ультразвуке картофель перед посадкой. Он взошел раньше и дал полуторный урожай. Пригласили работников картофельного института и повторили опыт на 300 клубнях картофеля. И снова «озвученный» картофель взошел раньше, а когда подсчитали урожай новой картошки, то оказалось, что он на 45 процентов больше чем от 300 других, «неозвученных» клубней.

Тогда попробовали на горохе — он дал двойной и тройной урожай.

Сейчас производятся опыты и над другими растениями.

Т Е Х Н И К А

Искусственное небо

Когда строятся большие здания: Дворец советов, огромные жилые дома, гостиницы—в плане все должно быть заранее точно подсчитано. Ошибаться нельзя: все—от прочности здания до того, как будет падать свет через окна в залы и комнаты, — архитектор должен предвидеть наперед.

Но как бы ни были точны цифры, все же лучше, если бы удалось просто посмотреть, все ли выйдет так, как думает архитектор.

Гигантская стена Дворца советов перегородит воздушные потоки почти так, как плотина реку. Какова же та колоссальная сила, с которой будет давить в сильную бурю на эту стену — плотину? Это можно определить. Сейчас строится модель Дворца советов высотой в 4 метра. Затем ее поставят в аэродинамическую трубу ЦАГИ (Центрального аэро-гидродинамического института), где испытываются самолеты. Там модели придется выдержать ураган.

В светотехнической лаборатории Оптического института построен искусственный небосвод — купол в 4 метра в поперечнике, освещенный так, как освещено утром, днем или вечером московское небо. Под этот купол ставится точная модель большого зала Дворца. И сразу станет ясно: пра-

вильно ли спланирован этот огромный зал, будет ли светло во всех углах его.

Сооружается искусственное солнце — лампа, которая будет давать такие же параллельные лучи, какие падают на землю от солнца. Солнце в квартире — ведь это здоровье! И модель нового дома пройдет проверку: не будет ли в нем темных квартир, правильно ли прорезаны окна, не забирают ли свет соседние здания? В старых домах есть много квартир, где и днем приходится сидеть с электричеством. В новых домах таких квартир не будет!

Воздушные корабли

Дирижабль подымает много больше груза чем самолет. Он летает без посадки дальше и дольше. Летать ночью дирижаблю легче и безопаснее чем самолету. И останавливаться он может реже чем самолет. И если все сосчитать, то окажется, что в год дирижабль налетает больше чем самолет. Сейчас пробуют разгружать и нагружать дирижабль с самолетов, сажать и снимать пассажиров на ходу. Тогда многие остановки для дирижаблей можно будет отменить.

В отдаленные местности, куда ни на чем другом не доберешься, гигантские дирижабли могут в несколько дней привезти сотни людей, тонны продуктов, материалов, машины, десятки самолетов.

Самый большой дирижабль в мире построен пока немцами. Он длиной в 248 метров. Чтобы заполнить его оболочку, нужно 200 тысяч кубических метров газа. На этом дирижабле есть курительный салон, танцовальный зал, галлерея для прогулок, ванные. Он будет летать из Германии в Бразилию; каждый рейс — 17 тысяч километров. Какая изумительная техника понадобилась, чтобы построить этот роскошный летающий отель!

Но вот что поразительно: в строительстве дирижаблей самая высокая, самая сложная техника сочетается с самыми грубыми и отсталыми способами работы.

800 тысяч голов рогатого скота пришлось убить, чтобы построить немецкий дирижабль «Граф Цеппелин». 800 тысяч слепых кишок коров и быков понадобилось для того, чтобы выработать газонепроницаемый материал «бодрюш», из которого сделаны газовые баллоны «Графа Цеппелина».

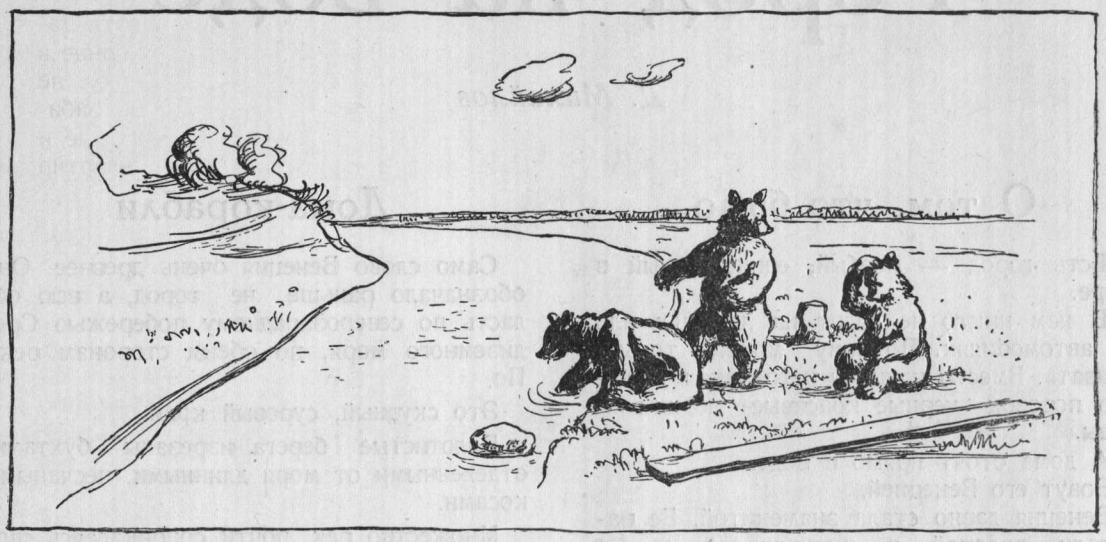
Когда дирижабль наполняется газом, десятки рабочих наваливаются на газгольдер — огромный мешок из прорезиненной материи, — и так выдавливают газ по шланге в дирижабль

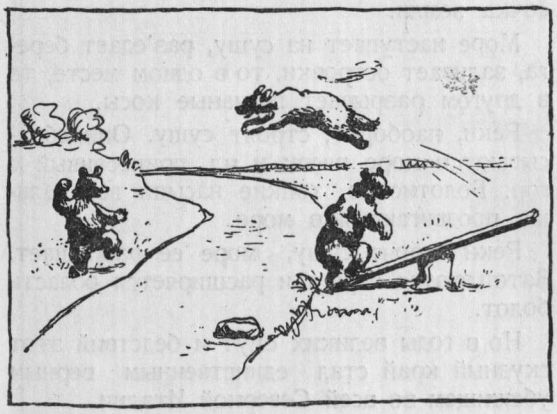
Но вот, наконец, воздушный корабль отправляется в полет. И снова сотни рабочих берутся за тросы и канаты и выволакивают его из эллинга совсем так, как когда-то бурлаки под «дубинушку» тащили суда вверх по Волге.

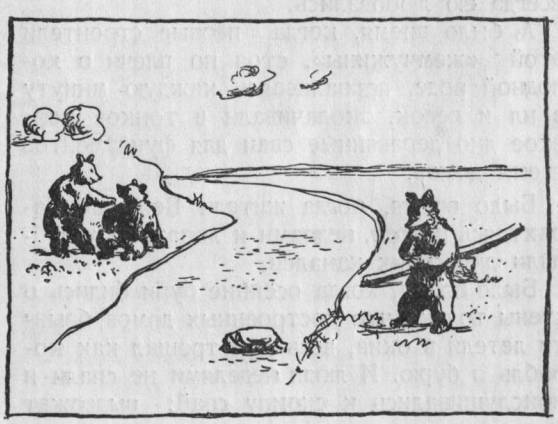
В капиталистических странах миллионы безработных. А скот там и без того режут сотнями тысяч голов и туши сжигают, чтобы поднять в цене мясо.

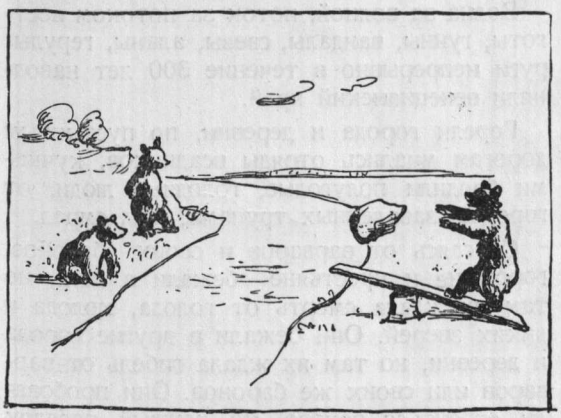
Но нам, в Советском союзе, надо учиться строить дирижабли не так, как строят заграницей. И советские изобретатели и инженеры уже думают, каким материалом заменить бодрюш и как построить машины, которые будут склеивать оболочку, наполнять ее газом, выводить дирижабль из эллинга.

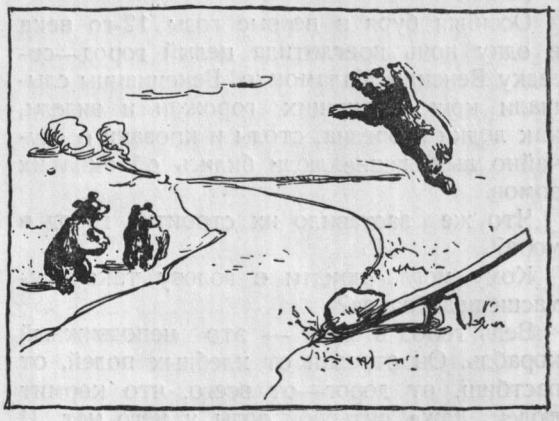
Находчивые медведи











Город на воде

Д. Михайлов

О том, что было

Есть город — особый, единственный в мире.

В нем никто не ездит на лошадях или на автомобилях. По нему можно только плавать. Вместо улиц—у него каналы, вместо повозок—черные красивые лодки-гондолы.

А дома стоят прямо в воде.

Зовут его Венецией.

Венеция давно стала знаменитой. Ее называли «золотой» и «жемчужиной» и «La Bella»—прекрасной. Всегда ее восхваляли, всегда ею любовались.

А было время, когда первые строители этой «жемчужины», стоя по плечи в холодной воде, проваливаясь каждую минуту в ил и песок, вколачивали в топкое морское дно деревянные сваи для фундаментов своих домов.

Было время, когда жители Венеции, барахтаясь в воде, ведрами и лопатами углубляли дно своих каналов.

Было время, когда осенние бури бились о стены только что построенных домов, брызги летели в окна, весь дом трещал как корабль в бурю. И люди неделями не спали и прислушивались к скрипу свай: выдержат или нет.

Когда сваи ломались, дом шел ко дну как корабль, со всеми людьми.

Осенняя буря в первые годы 12-го века в одну ночь проглотила целый город—соседку Венеции Маламокко. Венецианцы слышали крики тонущих горожан и видели, как лодки и бревна, столы и кровати и случайно выплывшие люди бились об окна их домов.

Что же заставило их строить город в море?

Кому могла придти в голову такая сумасшедшая затея?

Ведь город в море — это неподвижный корабль. Он отрезан от хлебных полей, от пастбищ, от дорог—от всего, что кормит людей. Даже питьевой воды у него нет. И он не может как корабль уйти от бури.

Дома-корабли

Само слово Венеция очень древнее. Оно обозначало раньше не город, а всю область по северозападному побережью Средиземного моря, по обеим сторонам реки По.

Это скудный, суровый край.

Болотистые берега изрезаны бухтами, отделенными от моря длинными, песчаными косами.

Множество рек, почти соприкасаясь своими дельтами, впадает здесь в море.

Море и реки спорят из-за каждого кусочка земли.

Море наступает на сушу, раз'едает берега, заливает островки, то в одном месте, то в другом разрывает песчаные косы.

Реки, наоборот, строят сушу. Они сбрасывают в море песок и ил, принесенный с гор. Болотистые, топкие насыпи все дальше продвигаются в море.

Реки строят сушу, море ее разрушает. Затопляются берега и расширяется область болот.

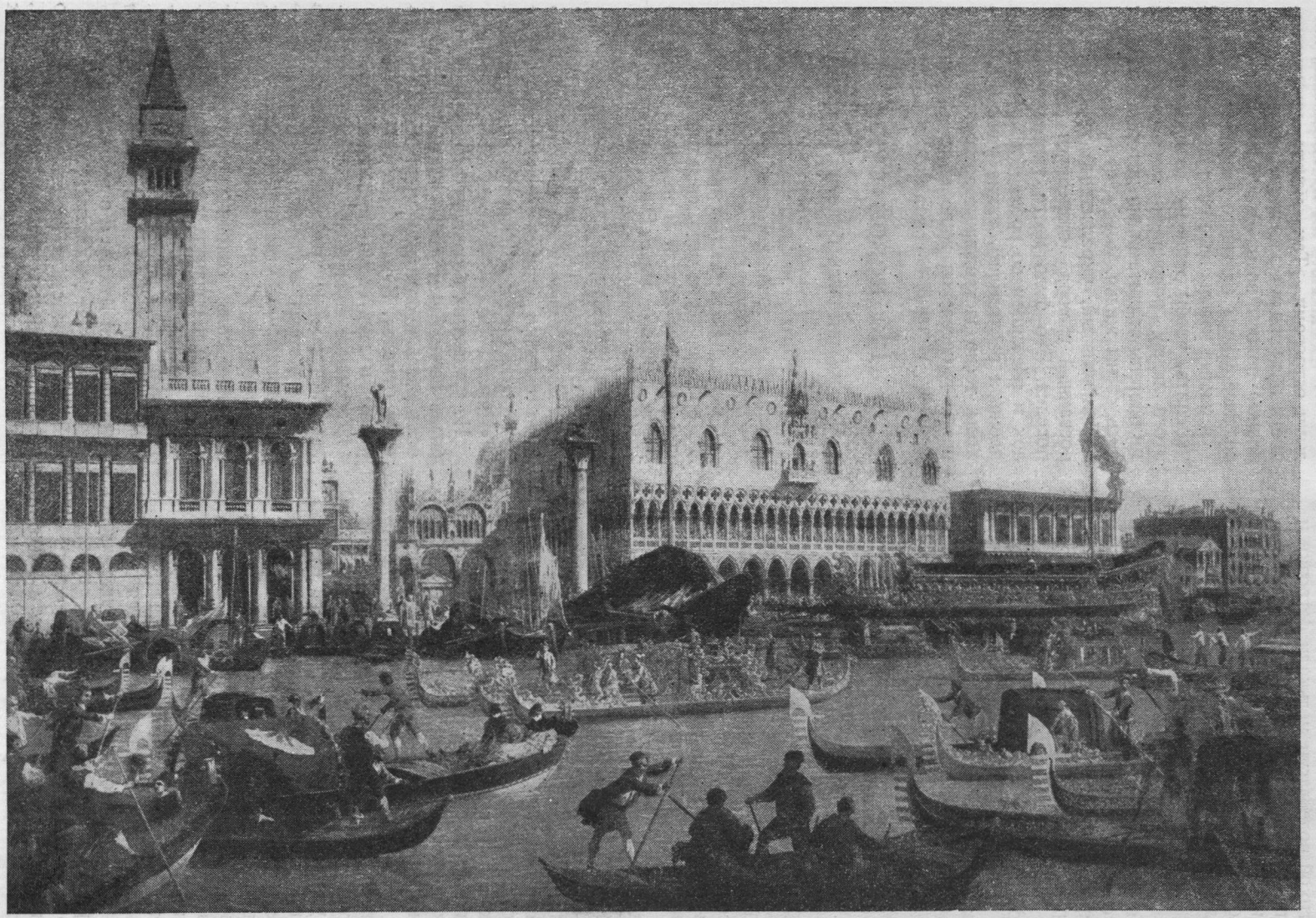
Но в годы великих смут и бедствий этот скудный край стал единственным верным убежищем во всей Северной Италии.

В пятом веке на Аппенинский полуостров хлынули варвары.

Волна за волной, поток за потоком вестготы, гунны, вандалы, свевы, аланы, герулы; руги непрерывно в течение 300 лет наводняли венецианский край.

Горели города и деревни, по пустынным дорогам мчались отряды всадников, кучками бродили полуголые, голодные люди, от городов, заваленных трупами, шел смрад.

Спасаясь от варваров и своих баронов, горожане и крестьяне бежали в леса, но там их ждала смерть от голода, холода и диких зверей. Они бежали в другие города и деревни, но там их ждала гибель от варваров или своих же баронов. Они пробовали строиться заново, но каждый поселок становился приманкой для грабителей.



С давних времен в Венеции был праздник, который назывался «Венчание дожа с морем». Дож, глава венецианской республики, после избрания выезжал в открытое море и бросал в море золотой перстень. Морская купеческая республика «венчалась» с морем. Этот праздник художник Канале (XVII век) изобразил на своей картине. У дворца в ожидании выхода дожа стоит громадный разукрашенный корабль. Он предназначен для самых торжественных выездов дожа и называется «Буцентавр». А на канале множество лодок и гондол, в них знатные, богатые венецианцы. Когда «Буцентавр» отчалит от дворца, они поплывут вслед за ним, чтобы присутствовать при «венчании».

А рядом шумело море: огромное, пустынное, холодное.

В тихой воде лагун мелькали островки и отмели. В сущности, твердой земли не было: маленькие островки постоянно меняли свои очертания, их заливали приливы и разрушали бури.

Но зато на них не хозяйничали бароны, здесь не грозили никакие варвары.

И вот на этих островках уже в конце пятого века возникает жизнь. На лодках пробираются сюда жители разоренных городов, рыбаки и крестьяне сожженных деревень.

Первое время они жили на лодках, а в часы отлива на влажном песке островов раскладывали костры.

Понемногу они начали строить себе дома. Они вкапывали четыре столба в песок на высоте, до которой не достигал прилив, соединяли столбы перекладинами и настилали на них жерди. Так получался пол для водяного дома.

Укрепляя между столбами щиты из прутьев, люди создавали стены жилья. Сверху плетеные стены покрывались ветками или соломой. Это была крыша. В ней оставляли отверстие для выхода дыма. Другое отверстие делали в стене: оно заменяло и окно и дверь.

Часто ночью вода подмывала один из столбов. Тогда вся постройка валилась на бок—и снова, как в первые дни, приходилось переселяться в лодки.

Часто беженцев будил удар волны о плетеную стену дома, брызги разбивались о пол как о палубу корабля, ветер срывал крышу, сверху вместе с ветром и дождем ударяла морская волна. Тогда из отверстия в стене хижины как с палубы корабля прыгали прямо в лодку и до утра старались держаться на волнах, чтобы не разбиться о берег.

А утром приплывали обратно и вновь, как при первом своем приезде, находили голые песчаные острова и пустынное море. Волны все снесли за ночь: уже не было ни домика на нем, ни бревен, ни сушеной рыбы, заготовленной впрок, ни одного глотка пресной воды.

Тогда начинали строиться сначала.

Для морских беженцев строиться означало совсем не то, что для людей на суше.

Строиться на море означало прежде всего строить землю. Нужно было хоть в некоторых местах повысить почву. Создать хоть один твердый участок, не заливаемый приливом.

Чтобы достать землю для засыпки, срывали мелкие острова между основными, жилыми островами. Так между участками, предназначенными для жилья, образовались ровные полосы воды. Это были каналы — водяные улицы будущего города.

А жилые насыпанные острова нужно было укрепить, чтобы море их не размыло. Для этого почву подпирали теми деревянными плетеными щитами, из которых создавались стены жилья.

Приподнятый, укрепленный участок, отвоеванный у моря, становился площадью поселка. Это было место торговли и сходок и убежищем во время бурь. От этой площади расходились узкие улички — проходы, тесно заставленные домами. Но большинство населения жило вдоль каналов, в свайных постройках.

На новой суше

Чем же питались беженцы, выброшенные в море?

Хуже всего было с водой для питья. Единственным источником пресной воды был дождь. Дождевую воду собирали в бассейны, выкладывали чистым песком, чтобы вода, проходя через него, фильтровалась. Такие бассейны стояли и на площадях и во дворе каждого дома. Они, вероятно, были первыми сооружениями в морских поселках, которые украшались как произведения искусства.

Питались главным образом рыбой. Рыбы было сколько угодно. Здесь насчитывают 444 сорта рыб и 850 сортов съедобных раковин.

Но у морских беженцев был продукт, еще более ценный чем рыба. Это соль. Соль осаждалась в огромном количестве на плоских отмелях. Нужно было только их огородить и дать солнцу выпарить воду.

Добывание соли было единственным делом, которое не требовало от поселенцев тяжелого труда. «Они обладают тем, что не изготовили», — с удивлением говорит о них летописец.

Именно соль сохранила поселенцев от голода. Соль означала для них хлеб, и мясо, и камни для строительства, и все то, чего они были лишены. Потому что те, кто мог дать им и хлеб и камни, не имели соли. Во всей Италии и в части Греции соль почти нигде не добывалась.

Венецианцы стали менять свою соль по всему побережью Адриатического моря, бесстрашно плавая на своих маленьких гребных челноках.

Понемногу беженцы обжились в своих водяных деревнях. Их становилось все больше и больше. К концу 6-го века в лагунах венецианского края было уже не менее девяти морских поселков.

На отвоеванных у моря участках земли жители морских поселков сеяли пшеницу, на искусственно засыпанных островах они сажали виноградники и укрепляли эти участки плетенками, как городские площади. Они заводили себе скотину, устраивали огороды и пастбища.

Беженцы сумели создать города, но они не смогли создать себе морской жизни, морского хозяйства.

Они не сумели применить свою жизнь к морю. И море их погубило.

Одной из первых жертв пал самый северный из морских городов — Прадо.

Море подмыло его дамбы, раз'ело фундаменты его домов и залило, шаг за шагом, его постройки.

Все теснее сжимался город, медленно отступая перед морем, перенося все дальше от воды свои строения. И, наконец, обессилел. Уже в 9-м веке началось бегство жителей Прадо на остров Риальто—будущую Венецию.

А сам город превратился в забытую рыбачью деревушку.

Погиб Прадо, погибли Каорче, Изоле... В одну ночь море поглотило богатый город Маламокко. Он как корабль пошел ко дну со всеми своими домами, площадями и дворцами.

На широкие каналы и величественные площади Венеция выставила, как напоказ, роскошные мраморные дворцы. А за ними, в глубине города, скрыты узкие улички-каналы. В этих суровых ущельях живут бедные ремесленники. Дома здесь мрачны, как тюрьмы. В них никогда не заглядывает солнце. Такой была купеческая Венеция в древности, такой она осталась и в нынешней, фашистской Италии.

У великой морской дороги

И только один из этих морских городов выжил, расцвел и стал знаменитым по всему миру.

Тогда он назывался Риальто, по имени своего острова. Лишь много позже, в тринадцатом веке, на вершине своей славы, он гордо принял имя своего края — Венеция.

Риальто был самым молодым из морских городов. Он возник лишь в восьмом веке, когда на суше прекратились варварские нашествия. Он вырастал в более спокойное время.

Другие морские города, его старейшие братья и сестры, передали ему свой опыт строительства на воде, они научили его избегать их ошибок, они передали ему даже свои постройки. Города на материке, уничтоженные варварами, стали неисчерпаемой каменоломней. Камень давали и развалины старших, разрушенных морем городов. Из городской стены погибшего Изоле венецианцы построили монастырь. Не успевало море в Градо или другом морском городе подмыть какое-нибудь здание, как венецианцы по частям свозили его к себе, в Риальто. Они даже раскопали гробницы в древнем городе Аквилее — больше там ничего не оставалось, — чтобы использовать мраморные плиты.

Быстро рос новый город. Постепенное разрушение других морских городов доставляло ему все новые толпы переселенцев. Прибывая в Риальто, они сразу же расселялись по особым кварталам.

Духовенство селилось вокруг монастыря, купцы занимали узкие «сухие» улички вокруг главной плащади, ремесленники тесни-

лись в восточной части города, рабы и полусвободные жили около своих господ.

Всякий вновь прибывающий в город прежде всего строил себе дом.

Дома, как и в других морских городах, строились вдоль каналов на сваях.

Только на самых крупных островах были узкие «сухие» улички—проходы. Их даже нельзя назвать улицами, это были скорее мастерские и клубы под открытым небом. Здесь стояли столы портных, станки плотников, от дома к дому развешивались для сушки и починки паруса. Между станков, под развешенными парусами, за бутылкой вина сходились соседи и приятели.

Почти все частные дома были деревянными и покрыты соломой. Строили тесно и высоко: ценился каждый кусочек суши.

Каждый дом был отделен от другого небольшим каналом. Здесь стояли лодки. Загромождать лодками большой канал воспрещалось. Через эти маленькие каналы были перекинуты мосты, которые перед домами переходили в узкие тротуары. С тротуара вела лесенка к воде.

Уже через 100 лет после своего возникновения новый город становится столицей края. Сюда переселяется властитель Венецианской области—дож. В центре города, на самом большом острове, он строит себе укрепленный замок.

Переселение дожа привело к Риальто новые потоки жителей и богатств. Среди деревянных домов выросли красивые каменные здания: дворцы знатных семей, дворец дожей, церкви и монастыри.

И все же Венеция до десятого века была только наполовину городом. В самом центре росли виноградники, на площади св. Марка стояла, отгороженная забором, роща, рядом помещался загон, где паслись кабаны дожа. Кругом виднелись соляные бассейны, мельницы, сады.

Такими были и другие города, старшие братья и сестры Венеции. Но Венеция такой не осталась. Она родилась в счастливый час и на счастливом месте.

В девятом веке вновь ожила великая морская дорога.

Товары культурных стран Востока вновь нашли доступ в земледельческую Европу.

Венецианский край будто притягивал к себе корабли. Здесь был тупик—место, где кончалась морская дорога и начиналась сухопутная. Сюда приставали корабли, которые с юга и востока, из Египта, Малой Азии или черноморских гаваней, везли товары в Северную Италию, Южную Германию и в северную часть Балканского полуострова.

В тихой воде лагун корабли находили надежную стоянку.

Здесь они разгружали свои товары.

Но область Венеции была не только конечной станцией морского пути, она была началом другой, речной дороги. Эта дорога вела по реке По на запад, в глубь страны. И товары, выгруженные с морских кораблей, вновь погружались на речные суда.

Венеция была передаточным пунктом.

Венецианская гавань понемногу заполнялась яркими тюками, странно пахнущими ящиками. Здесь были дорогие ткани из Малой Азии, перец, корица, шафран, имбирь—невиданные в Европе вещи. За пряно пахнущие коренья европейские бароны платили чистым золотом. Подать к столу поросенка, приправленного корицей или имбирем, тогда считалось такой же роскошью, как сейчас прокатить гостя на собственной яхте. А аптекари продавали перец отдельными горошинами, так он был дорог.

Жемчужина Адриатики

В начале шестнадцатого века Венеция достигла вершины своего могущества.

Она господствовала на всем Востоке, ей принадлежали вся западная и северная часть Греции, острова Средиземного моря и часть Италии.

Она была не только самым прекрасным городом в Европе, но и самым могущественным государством того времени.

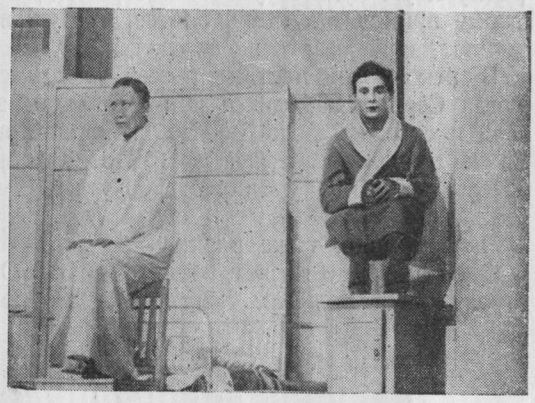
И этот же самый шестнадцатый век — время высшего расцвета Венеции — был началом ее падения.

Конец пятнадцатого века называют веком великих открытий. Тогда европейцы открыли Америку и океанский путь в Индию. Великие торговые дороги переместились с востока на запад: главная европейская улица прошла теперь вдоль берегов Испании, Франции и Англии. От этой улицы ответвлялись великие океанские дороги в Америку и Индию.

Перед дорогой океанов морской путь венецианцев оказался незначительным проселком. Товары и владения Венеции понемногу переходили к ее молодым соперникам.

Это означало гибель Венеции как огромного торгового пункта, гибель Венеции как государства.

Но остался город Венеция—прекрасный город на воде, жемчужина Адриатики.



„Сережа Стрельцов“

Мы видели много детских пьес, но до сих пор не видели такой замечательной пьесы, как «Сережа Стрельцов». С самого начала и до конца мы смотрели пьесу с очень большим интересом, и нам хотелось, чтобы было еще больше действий.

Все артисты, которые участвуют в пьесе, — совсем как настоящие ребята, такие, как у нас в школе.

Наталья Сац перед началом пьесы сказала, чтобы мы посмотрели, нет ли у нас в классе таких ребят, как Сережа Стрельцов.

Такие ребята у нас есть. Только мы иногда не замечаем, что кто-нибудь из ребят вдруг ходит хмурый.

Сережа Стрельцов держится в стороне от всех ребят. Он ни с кем не дружит и ему кажется, что над ним все смеются.

Очень многие ребята любят подражать писателям и великим людям. Любимый герой Сережи Стрельцова—герой поэмы Лермонтова «Мцыри». Ему кажется, что он так же, как Мцыри, одинок и никто не понимает его. Сережа очень гордый и самолюбивый. Он ссорится со всеми ребятами. Ему кажется все скучным и обычным.

Он подружился с ребятами, которых исключили из школы за кражу. Эти ребята решили обокрасть физический кабинет школы. Сережа, не зная того, что помогает им, открыл форточку, и ребята влезли через нее в кабинет.

Сережа знает, что в этом виноват Левка Савронов. Но он никому не говорит об этом.

...Неожиданно Сережа Стрельцов заболевает очень опасно. Он находится при смерти. Его можно спасти только переливанием крови. Учительница Наталья Петровна отдает ему свою кровь.

Сережа выздоравливает. Его выздоровление совпадает с сообщением в газетах о том, что герои-летчики спасли челюскинцев. Он видит, что Наталья Петровна совершила героический поступок. Он понимает, что герой — это тот, кто спасает других, кто ни перед чем не останавливается, чтобы спасти товарища.

Артист Ещенко, который играет Сережу Стрельцова, очень хорошо показал, как встречает Сережа своих друзей, которые пришли навестить его в больнице. Сережа видит, что все ребята любят его. Значит, он сам выдумал, что никто не хочет с ним дружить. Вместе с ребятами он мечтает о том, чтобы стать таким, как Водопьянов. Ему хочется быть героем не для того, чтобы удивить весь мир, но чтобы совершить большое, полезное дело. Ребята приносят

ему разные подарки: книги, газеты, воздушный шар, щенка и даже ужа.

Это последнее действие очень смешное. Мы все смеялись, когда Сережа открыл коробку и уж куда-то уполз. Все ребята, которые приходят к нему, боятся, что уж их ужалит, и залезают на тумбочки.

В некоторых местах пьесы, например когда Сережа находится при смерти, в нашей и соседней ложе ребята плакали. Когда мы вышли во время антракта в коридор, мы увидели, что у многих ребят красные глаза.

Наверно, они тоже плакали.

Очень хорошо играет артист Терьян. Он играет Кита Вальцева. Кит очень озорной и остроумный. Мы много смеялись над ним.

Вообще, вся пьеса хорошая. Но совсем не видно, чтобы была пионерская организация. Если она даже и есть в этой школе, то ничего не делает.

Все ребята говорят о Лермонтове в пьесе неправильно, а ведь они ученики 7-го класса. У нас ребята отвечают на уроках литературы лучше.

Но пьеса «Сережа Стрельцов» очень хорошая. Надо, чтоб все ребята ее посмотрели.

Коля Шабров,
Нона Городецкая,
Оля Корнева,
Галя Конецкая.

Прав ли Сережа?

Центральный детский театр очень долго и серьезно работал над этой постановкой. Автор В. А. Любимова писала пьесу почти два года и даже специально работала общественным групповодом в школе, чтобы лучше узнать жизнь ребят. Постановщики спектакля—Наталия Сац и В. Королев,—все участники спектакля—актеры—очень много раз выезжали в школы. Мы вызывали к себе актив ребят и педагогов и старались возможно полнее и всесторонне изучить все то, что помогло бы нам сделать этот спектакль как можно правдивее. Ведь очень нелегко актеру сыграть учащихся старших классов. Ведь это уже не дети, а, как мы называем их, «без пяти минут взрослые».

Нас очень радует то большое количество писем, которое мы получаем после каждого спектакля «Сережи Стрельцова». Ребята сопоставляют действующих лиц спектакля со своими товарищами по школе, сообщают нам свои мысли по поводу того или другого типа, выведенного в пьесе. Нас радует, что на каждом диспуте (а диспутов этих очень много) ребята горячо обсуждают все достижения и все недостатки нашей школы. На этих диспутах завязывается большая близость и дружба между вами и нами, работниками театра. Каждой своей работой мы стараемся помочь вам разобраться в волнующих вас вопросах, внимательнее приглядываться к окружающей вас жизни и людям.

Вот, например, всегда ли правильно относитесь вы к своим товарищам? Помогаете ли вы им в их трудные минуты? Достаточно ли вы цените тех своих педагогов, которые несут вам все свои знания и всю жизнь отдают школе и ребятам? Прав ли Сережа, когда он говорит: «Я принципиально чужих тайн не выдаю»? В чем разница понимания героизма у Лермонтова и у нас?

Все эти вопросы мы в своем спектакле задаем вам, чтобы вы не просто посмотрели спектакль, посмеялись и разошлись, а чтобы проверили и себя в своей школе, своих ребят, их поступки, отношения.

Каждый спектакль наши актеры играют с большим и настоящим волнением, и мы всегда спрашиваем себя: дойдет ли до вас спектакль и окажет ли он то нужное и полезное действие, которого мы добиваемся? А поэтому пишите нам еще и знайте, что письма нам доставляют большую радость, так как дают нам возможность проверять себя и еще больше сближают нас с вами — нашими зрителями.

Режиссер В. Королев.

Дом боярина

Я был в музее боярского быта 17-го века. Он находится на улице Разина, 18. Этот дом очень мрачный и на «белый свет» он смотрит маленькими слюдяными оконцами. Они большей частью закрыты железными ставнями. Когда входишь в этот дом, сразу бросается в глаза крепкая железная дверь с большим замком. Это тогда было нужно боярину. А то, неровен час, взбунтуются холопы, пойдут боярские дома громить. Вот и строили бояре дома как крепости: окна в боярском доме высоко да еще со ставнями, а дверь никак не проломишь.

По широкой лестнице я вошел наверх в боярские комнаты. Потолки здесь низкие, расписные. Узкие окошки пропускают мало света: в комнате темно. В красном углу стоит большой стол, накрытый расписной скатертью. Под иконами стоит дубовое кресло, обитое парчой. Здесь сидел сам хозяин. А на лавке сидели гости. Из-за этих мест часто возникали ссоры, потому что сажали того ближе к хозяину, кто был богаче и знатнее других.

Слуги на больших блюдах разносили кушанья и напитки: баранину, телятину, мед, пиво. Ели и пили бояре до одурения и к концу обеда не могли встать из-за стола. Один путешественник, присутствовавший на обеде, пишет, что бояре ели столько чесноку, что он не мог этого вынести и вышел из комнаты.

Ели все из одного блюда, брали все руками (вилок еще тогда не было, они появились позднее).

Когда я смотрел на блюда, кубки и другие сосуды боярского обихода, то я очень ясно себе представлял, как много ели бояре.

В кабинете боярина в углу висят иконы, а под иконами стоит стол, на нем чернильница, свеча, ножницы для снимания нагара. Перья тогда были гусиные. На столе лежит раскрытая книга о житии какой-то святой. Написано там так, что ни слова не прочтешь. На стене висит боярское оружие турецкий пистолет, украшенный драгоценными каменьями, пищаль, топорок, кинжал с костяной ручкой. На другой стороне — седло и весь конский убор, все в дорогих камнях.

Вот светелка боярыни. Около окна стоят пяльцы. На них — шитье: видно сидела за этими пяльцами боярыня да коротала дни в своей светелке. Жизнь ее была очень скучная. Даже окна ее светелки выходили не на улицу, а во двор. Женщина в те времена не смела выходить из светелки даже

на улицу, а если выходила, то только в церковь. Но домовитые бояре строили церкви у себя в доме.

В часовне очень много икон. Лежит псалтырь, на столе стоят чаши для причастия, кадило и подсвечники.

Все боярские комнаты с низкими потолками, мрачные, в них почему-то хочется говорить шопотом.

Когда я осмотрел весь первый этаж, я поднялся по узкой лесенке наверх. При реставрации этого музея второй этаж пристроили, а раньше его не было.

В этом зале висит оружие того времени и описание восстания Степана Разина. Это самый интересный отдел.

Я советую ребятам сходить в этот музей. Мы с приятелем Женей Тарарухиным были в этом музее, и нам он очень понравился. Жаль только, что под некоторыми вещами нет подписей.

Юра Золотов.

Москва,
ул. Горького, 69.

Приходите в наш музей

Юра Золотов очень верно заметил, что бояре боялись нападения на свой дом. Они не только делали железные ставни и двери, но и дом строили в самой глубине двора, подальше от улицы. Усадьба боярина была окружена солидной оградой из вертикально поставленных бревен.

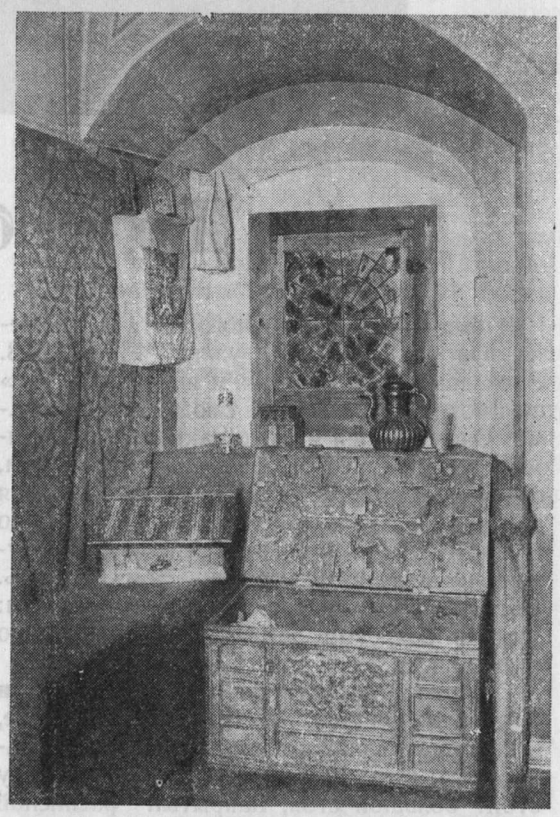
В этом доме жил боярин Михаил Романов. Когда бояре избрали его царем, в доме осталась жить его мать — старица Марфа Эта усадьба со своими пристройками занимала целый квартал.

Когда Юра осматривал кабинет боярина, он, наверно, обратил внимание на длинные полосы бумаги, исписанные очень неразборчивым почерком. Бояре писали на бумажных полосах, свертывали их в трубку, подклеивали еще к ним бумагу и получалась длинная лента. Такие «бумажные столбцы» бывали длиной в несколько метров.

Здесь на фотографии вы видите уголок спальни. Сундук, который стоит с левой стороны, привинчен к полу. Он весь железный и одним поворотом ключа запирается со всех четырех сторон. А маленький ящичек, который стоит на лавке, клали под подушку. Поэтому и крышка у него такая покатая. В нем хранились драгоценности.

Все ребята, которые еще не были в нашем музее, пусть приходят.

Научный сотрудник музея
Овчинникова.



Уголок спальни в доме боярина.

ПОЧТА

„Следопыты“

Письмо Бори Болтенкова

Ст. Томилино, Моск.-Каз. ж. д., московская областная школа № 2

Был солнечный морозный день. Я и трое моих товарищей взяли с собой охотничью собаку «Пальму» и пошли на лыжах в ближайший лес. Мы решили стать «следопытами» и по следам отгадывать, какой зверь их оставил. Сначала шли мы по проезжей дороге, потом свернули влево. Перед нами раскинулось большое поле, занесенное пушистым снегом.

Скоро мы увидали густой лес. Мы прибавили шагу, быстро проехали через маленький овраг и выехали к лесной чаще.

Я с «Пальмой» пошел вперед прокладывать лыжню. Мне приходилось заворачивать из стороны в сторону, потому что на пути стояли деревья. «Пальма» бежала рядом со мной. Вдруг она зарычала и, опустив голову, стала нюхать снег. Потом побежала вперед. На снегу были видны небольшие отпечатки заячьих лап: два отпечатка впереди и один сзади.

Я позвал скорей ребят, которые отстали, и показал им заячий след. Не теряя времени, мы пошли по этим следам. «Пальма» бежала впереди, часто оглядываясь на нас.

Вдруг «Пальма» обежала вокруг куста и села около него. Мы заторопились и, когда подошли к ней, увидали примятый снег около куста. Вероятно, здесь отдыхал заяц, но, услышав шум, убежал. Кругом было много следов других животных, и мы сначала потеряли его след, но потом снова нашли. Когда мы проезжали через большую поляну, мы увидели зайца. Он был весь белый, как снег, и, если б «Пальма» не залаяла, мы бы не разглядели его. Скоро мы бросили его преследовать, потому что заехали в густую чащу елового леса.

Этот лес был знаменит тем, что в нем водилось много белок. Под большой ветвистой елью мы увидали мелкие кусочки коры и обломки веток. Мы заинтересовались этим. Вдруг кто-то из ребят сказал: «Да ведь это, наверно, белки».

Мы все подняли голову и стали смотреть наверх. Один из сучков зашевелился. Мы увидали красивую белку с пушистым хвостом. Она что-то ела.

Я полез на дерево, но оно было скользкое и очень толстое. Я старался лезть тихо, чтобы не испугать белку. Случайно я

По полянке бежал заяц... Рисунок Бори Болтенкова.

наступил на сухой сучок, и он обломился. Белка быстро прыгнула на другую ветку, потом перепрыгнула на другое дерево и скрылась от нас в ветках зеленых елок.

Проезжая по лесу, мы стали замечать небольшие ямки, выкопанные в снегу. Около ямок лежала скорлупа от жолудей. У нас поднялся спор. Некоторые ребята говорили, что эти ямки выкопала белка, потому что мышь жолудей не ест. Но я и другие ребя-

та были убеждены, что это не белка. Мы раскопали одну ямку, но там никакого зверька не было.

Вскоре мы увидели обрывистый овраг, края его заросли кустарником. Мы с таких обрывов раньше никогда не прыгали.

Я тихонько оттолкнулся палками и покатился вниз. Как я ни лавировал между кустами, все-таки упал на дно оврага, в рыхлый и мягкий снег. Все ребята с'ехали удачно, только один налетел на кусты, упал в них. Лыжи у него соскочили с валенок и покатились под откос. Он исцарапал себе все лицо и набрал полные валенки снега.

Мы вытащили его лыжи и поехали.

Было уже около двух часов дня. Перейдя через овраг, мы подошли к одному из сваленных деревьев, чтобы немного отдохнуть и закусить. Я начал поправлять соскочившее с палки кольцо. Вдруг я вспомнил про «Пальму».

— Ребята, где «Пальма»?—громко спросил я.

Никто из них не знал. Я опять надел лыжи и поехал искать «Пальму».

Мы вернулись обратно, заглядывая за каждый куст, громко звали «Пальму», но ее нигде не было. Встороне лежала сваленная сосна. Я под'ехал к ней и увидел «Пальму». Она сердито копала снег, раскидывала его по сторонам. Увидев меня, она перестала копать. Быстро подбежала ко мне, вильнула хвостом и побежала обратно к сосне. Я стал наблюдать за «Пальмой». Она, видно, уже докопалась до земли, потому что вместе со снегом стала выкидывать желтые листья.

Мы подошли к ней и увидали небольшую нору. Нора эта, вероятно, была лисья, потому что около норы не было следов. Ведь когда лиса бежит по снегу, она заметает следы своим длинным пушистым хвостом, чтобы не выдать себя. Теперь мы догадались, кого искала «Пальма».

Начало темнеть. Мы решили вернуться домой. В лесу было так темно, что мы стали немного побаиваться и оглядываться по сторонам.

Мы выехали на просеку и пошли прямо по ней. Вдруг мы заметили большие волчьи следы, пересекающие просеку. Мы остановились. У нас не было никакого оружия, и мы вчетвером стояли, не зная, что нам делать. Ехать дальше по просеке мы боялись, потому что волк мог напасть на нас. А кроме того, может быть, здесь шел не один волк. Когда волки идут стаей, то ставят лапы след в след так ловко, что неопытный человек может подумать, что шел только один волк.

Мы быстро свернули в лес и решили зайти в близлежащий колхоз и сказать там, что мы видели следы волка.

В темноте я наскочил на дерево и сильно ушибся.

Скоро мы выехали к деревне и сказали колхозникам, что видели следы волков. Охотники решили утром выйти ловить волков.

А мы пошли домой.

Мой жеребенок

Письмо Баразби Хомгокова

Кабардино-Балкарская обл., Нальчикский район, с. Кендже, неполная средняя школа

Когда я первый раз пришел в нашу колхозную конюшню, я увидел восемь маленьких жеребят, очень грязных и худых. А самый худой был один черный жеребенок. Хвост у него длинный, весь спутанный, и ребра торчат.

Конюх сказал: «Скоро с него придется шкуру снимать, потому что он подохнет. У него остались только кожа да кости».

Мне стало жалко этого жеребенка, и я сказал: «Я буду шефствовать над этим жеребенком».

Председатель нашего колхоза Нагоев разрешил мне.

Я попросил нашего конюха Хатау-Тауфа подстричь жеребенку хвост. Потом я очистил жеребенка от грязи и обмыл теплой водой с мылом. Звали жеребенка «Костиком».

У «Костика» не было своего места. Он бродил по всей конюшне. Я нашел ему место в конюшне и отгородил его. Потом я сделал для «Костика» станок.

Я подружился с конюхом Хатау-Тауф.

Он очень много об'яснял мне, как лучше ухаживать за жеребенком. Отец спрашивал всегда у меня: «Как поживает «Костик»? А отец у меня — самый лучший пастух в Нальчикском районе. Он мне тоже много помогал советами.

Перед тем как идти в школу, я всегда приходил в конюшню. Я мыл «Костика», клал ему сено и овес, менял подстилку.

Я приносил «Костику» из дому кусочки сахара, хлеба, кукурузу.

И «Костик» очень привык ко мне. Когда я его звал, он бежал ко мне и смотрел на руки, что я ему принес.

Вечером, когда кончались занятия, я снова приходил к «Костику». Я водил его на водопой, готовил корм на ночь и снова менял ему подстилку.

Все ребята у нас очень любят лошадей, и многие хорошо ездят на них верхом.

У моего товарища Бегулова есть братишка Володя. Ему всего 8 лет, но он уже хорошо ездит на лошади. И Баширу Гашаеву Мусарев тоже всего 9 лет, а он сидит на лошади как настоящий джигит.

Девочки у нас тоже не боятся лошадей. Сестра Володи уже много раз ездила верхом и всегда просит конюхов, чтобы ей дали покататься.

В школе все ребята спрашивали меня и очень интересовались, как я ухаживаю за «Костиком».

Я шефствовал над «Костиком» два года, и он стал очень быстрым и красивым конем.

Однажды я вел его с водопоя. Вдруг «Костик» вырвался и быстро побежал по дороге. Он бежал очень ровно и так быстро, что все джигиты сказали, что «Костик» будет скакуном.

На ферме мне сказали, что «Костик» — чистокровный «кабардинец». Тогда я решил об'ездить его сам. Раньше я тоже ездил на лошадях, только не на таких горячих и молодых, как «Костик». Утром я сел без седла и погнал «Костика». Он проскакал один километр за 2 минуты. Я рассказал об этом Хатау-Тауф. Он сказал мне, что надо сделать из «Костика» скакуна.

Все лето и осень я об'езжал «Костика».

В прошлом году в ноябре я участвовал в областных призовых скачках в Нальчике. Сначала наш председатель колхоза Хасим Нагоев не хотел меня отпускать на скачки. Он мне сказал: «Ты упадешь с лошади».

Все, кто был в это время в комнате, начали смеяться надо мной.

Я стал просить Хасима Нагоева, но он строго сказал: «Не позволяю».

Мне стало очень обидно. Я побежал к своему другу, конюху Хатау-Тауф, и все рассказал ему. Хатау-Тауф пошел к председателю колхоза и поговорил с ним. Нагоев послушался его и разрешил мне участвовать в скачках.

Мне сделали маленькое седло. Все ребята и взрослые нашего колхоза очень хотели, чтобы «Костик» победил всех.

7 ноября, в день скачек, я был в Нальчике. На скачки приехало 300 человек,— все взрослые джигиты. «Костик» был в этот день очень серьезный и задумчивый. Он опустил голову, косил глазом на других лошадей (наверно, он думал, как ему обогнать всех лошадей).

Встали 8 лошадей в ряд. Когда махнули флажком, все кони в нашем ряду помчались. А «Костик» испугался шума и немножко отстал. Потом он как-то весь вытянулся и начал обгонять. Скоро он так обогнал всех джигитов, что их даже не было видно. Я скакал по степи один. «Костик» пробежал дистанцию в 80 километров за 2 часа 37 минут и пришел к финишу самым первым.

Я получил первый приз.

Все ребята меня поздравляли, и никто из взрослых уже не смеялся надо мной.

В прошлом году я опять участвовал в Нальчике в скачках, и опять «Костик» пришел первым.

Один джигит, который скакал со мной рядом, заметил, что «Костик» начал обгонять его коня. Джигит сильно размахнулся и ударил меня нагайкой. Он хотел, наверно, чтобы я свалился с лошади, но я кое-как удержался и снова приехал самым первым.

Однажды, во время зимних каникул, мы собрались играть в школе. В школу пришел Нагоев и сказал мне:

— Ты поедешь вместе с лучшими животноводами в Москву.

Я спросил:

— Согласны ли ребята, чтобы я поехал?

Они все согласились, и я пошел домой собираться в дорогу.

Из Пятигорска вместе со всеми делегатами я поехал в Москву. Я никогда не ездил так долго в поезде, меня очень трясло и хотелось спать, но я боялся, что просплю, когда мы будем под'езжать к Москве. Я все время смотрел в окно и вдруг увидел Москву. Мы под'езжали к ней ночью, но кругом было светло как днем. В Москве я был на совещании животноводов, и вот во время совещания в зал вошли товарищи Сталин и Молотов. Все встали со своих мест и нача-

ли аплодировать. Я все время смотрел на товарища Сталина. Вдруг товарищ Сталин подозвал меня и Мишу Кулешова и стал спрашивать нас, как мы живем и учимся. Мы все подробно рассказали. Товарищ Сталин сказал нам, чтобы мы приготовились выступать. Я выступил и сказал речь сначала на кабардинском языке, а потом на русском.

Перед от'ездом из Москвы меня наградили орденом «Знак почета», и тов. Калинин вручил мне его.

На дне моря

Письмо Жени Разикова

Москва, 1-й Нижнемасловский пер., д. 10, кв. 1

В нашей школе уже второй год существует географический кружок. Мы изучаем жизнь и быт народов Советского союза.

Это так интересно, что на занятия кружка приходят не только те ребята, которые записались в этот кружок, но и многие другие.

Однажды к нам в гости пришел работник ЭПРОН тов. Кальмансон. Он рассказал нам так много интересного о жизни водолазов, что многие ребята решили после школы стать эпроновцами.

Восемьдесят два года назад Севастополь был осажден французскими, английскими и турецкими войсками.

Английский корабль «Черный принц» вез своим солдатам жалованье — около 5 миллионов рублей золотом. В это время на море разыгралась страшная буря, корабль налетел на подводную скалу и утонул.

Золото, которое потонуло вместе с кораблем, так и осталось лежать на дне моря, потому что тогда водолазы не могли быть под водой больше 10 минут: был изобретен такой подводный колокол, который вытеснял воду, но человек мог находиться под водой очень недолго. Через несколько лет был изобретен водолазный костюм, и люди могли быть под водой уже дольше.

В 1924 году у нас начались работы по под'ему корабля «Черный принц». Точного места гибели корабля никто не знал, и поэтому водолазам приходилось обследовать все морское дно. А Черное море было тогда как кладбище судов. И вот эпроновцы стали «по пути» поднимать и другие суда, которые потонули во время империалистической войны.

Работа у водолазов очень трудная: на дне моря им часто приходится бороться с морскими чудовищами.

На дне Тихого океана около Владивостока на одного водолаза напал спрут. Водолаз не заметил, как спрут обхватил его и начал постепенно душить в своих об'ятиях. Когда спрут сильно сжал его тело, водолаз заметил, что спрут обвил его, и дал сигнал наверх, чтобы его поднимали. Спрут не отпускал своей добычи. Он все сильней сжимал

Водолаз спускался к потонувшему кораблю.
Рисунок Жени Разикова.

водолаза и вместе с ним был поднят на палубу баркаса. Даже умирая он не хотел выпускать водолаза.

Эпроновец должен быть очень находчивым. Одному водолазу дали задание обследовать лежащую со времени мировой войны подводную лодку. Он спустился и нечаянно зацепился шлангом за ее люк. Люк придавил шланг, и воздух перестал поступать. Тогда водолаз перерезал ножом шланг и пробкой вылетел на поверхность воды. Его тут же отвели в особую камеру, потому что у него началась «кессонная болезнь».

Эта болезнь происходит от того, что давление в глубине моря значительно больше чем на суше.

В этой камере сначала давление такое же как в море, а потом постепенно понижается до нормального атмосферного.

Я теперь очень интересуюсь водолазным делом и читаю все книги про ЭПРОН, которые есть в нашей библиотеке.

Тайна подземелья

Письмо Октября Яхонтова
Москва, Бакунинская ул., д. 41, кв. 68

Летом 1931 года я жил в лагере около станции Козлов. Местность, где мы жили, была очень хорошая. Недалеко протекала река. Жили мы в большой, очень красивой даче. Раньше тут жил фабрикант — хозяин суконной фабрики.

Однажды после купанья мы с ребятами захотели устроить соревнования, кто лучше попадет в цель. Около нашей дачи лежала большая железная плита. Она лежала не совсем на земле, а немного наклонно и была засыпана землей. Мы счистили всю землю с нее, нарисовали большой круг, потом набрали небольших камешков и начали кидать их в плиту.

Так мы кидали все поочереди. Потом кто-то из ребят кинул очень большой камень. Мы сначала ничего не заметили. Но вдруг железная плита заскрипела и начала очень медленно открываться. Оказалось, это была не железная плита, как мы думали, а дверь, которая вела в какое-то подземелье. Мы были тогда совсем маленькие, испугались, побежали скорей к вожатому и рассказали ему о нашем открытии.

Вожатый взял с собой фонарь «летучую мышь», зажег в нем свечку, и мы пошли в подземелье. В подземелье было очень темно, фонарь еле освещал нам дорогу. Не прошли мы и нескольких шагов, как почувствовали страшное зловоние. Мы зажали носы и продолжали идти. Кругом было страшно темно и сыро. Неожиданно мы услышали тихое журчание воды.

Вероятно, где-то поблизости протекал подземный ручеек. Мы простояли в оцепенении несколько секунд. Вдруг у вожатого от волнения выпал из рук фонарь. Он разбился, издав глухой треск и на несколько секунд ярко осветив подземелье.

Это был очень широкий, но низкий коридор. Со стен капала вода. И вдруг кто-то из ребят закричал. Мы увидели, что из камней, вделанных в стену, тянулись проржавевшие цепи. Около цепей лежали небольшие кучки совершенно сгнивших костей, многие из них превратились в желтый порошок.

Мы кинулись скорей все к выходу. Все ребята, которые были на улице, даже испугались, когда мы выскочили из подземелья. Мы были все бледные, ноги в грязи.

После этого случая мы больше в подземелье не ходили. Ночью ребята боялись проходить даже около железной двери, которую мы сначала приняли за плиту.

Но нам очень хотелось узнать, что это за таинственное подземелье. И мы стали всех в деревне расспрашивать, не знают ли они что-нибудь про эту дачу и подземный ход.

Наконец, один старик нам рассказал. Фабрикант, который раньше жил в этой даче, был очень жестокий. Однажды рабочие взбунтовались против него. Тогда он арестовал нескольких рабочих, и с тех пор их никто уже не видел. Родные этих рабочих часто ходили к фабриканту, но он им ничего не говорил. Вероятно, кости, которые мы видели, были костями этих рабочих, которых фабрикант посадил на цепь и уморил голодом.

Больше мы не ездили на эту дачу.

БИОСКОП

или разные сообщения о вещах мелких и крупных, известных и неизвестных, видимых и невидимых.

●

Хорошее стекло почти невидимо. Но стоит его растолочь, и оно превратится в белый непрозрачный порошок, похожий на соль. Это происходит от того, что вместо одного стеклянного листа, имеющего всего две стороны, где отражается и преломляется свет, мы получили тысячи кусочков неправильной формы и число плоскостей преломления возросло в десятки тысяч раз. Но мы можем снова сделать невидимым этот порошок. Для этого его надо всыпать в воду. Вода и стекло преломляют свет почти одинаково. И сколько бы тысяч сторон и граней ни было у стеклянных кусочков, они снова станут прозрачными.

●

О «человеке-невидимке», описанном Уэллсом, никто никогда не слыхал. И все же существуют миллионы самых настоящих невидимок. Только искать их надо не на суше, а в воде. Знойный ветер Марроко прибил однажды к берегу Средиземного моря глаза. Странное существо не имело как будто тела. Его тело скорее нащупали, чем увидели. Оно походило на ленту. Кости и даже кровь не имели цвета. Это была рыба-«прозрачница». Сквозь нее можно было читать мелкую печать.

Осенние бури выбрасывают на берега Байкала живущую на больших глубинах рыбку-голомянку. Ее огромные плавники бесцветны. Голое тело кажется розоватым. Камень, на котором лежала одна из голомянок, проглядывал словно сквозь сгущение розового тумана. Рыбакам попалось раз удивительное плоское существо—«венерин пояс». Оно напоминало тонкий слой студня. Пока рыбаки старались разыскивать в нем хоть какие-нибудь органы, студень выскользнул из рук в мелкую воду. «Он упал вот сюда, подыми его скорей»,—сказал один. «Я ничего не вижу,— ответил другой,—тут только вода».

Но нам незачем завидовать этим рыбакам, встретившимся с невидимкой. Зачерпнем весной банку воды из любого пруда — там сотни их. Только ищите внимательно: невидимки не любят, чтобы их видели.

Роман Уэллса оказывается не такой уж фантазией!

В реке Амазонке живет четырехглазая рыба. Собственно, у нее два глаза. Но каждый глаз разделен на два этажа: верхний и нижний. Один видит в воздухе, другой — в воде. Рыба плывет так: верхний этаж у нее над водой, а нижний — под водой. Так они одновременно смотрят, что делается и там и тут. Вода преломляет свет сильнее чем воздух. Мы видим и под водой, но гораздо хуже чем в воздухе. Многие рыбы, выброшенные на берег, вероятно, прежде всего слепнут. Самый прозрачный воздух им кажется мутью, в которой нельзя различить ни одного предмета.

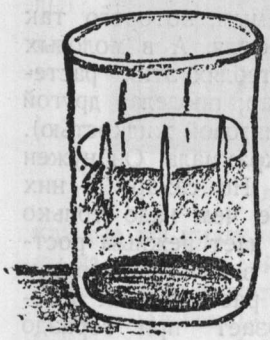
●

В луковице подснежника, выкопанной в сентябре, можно найти уже все части будущего цветка. Но совершенно напрасно стараться «выгнать» подснежник в теплице осенью, как, скажем, «выгоняют» гиацинты: из этого не выйдет ничего.

Один любитель попытался осенью вывести из семян для своего аквариума понравившееся ему растение — водяной орех. Он посыпал семена в банки и поставил их в теплую комнату. Семена проросли... но только весной.

Не все растения, конечно, так «упрямы». В Ботаническом саду ветвь ломоноса попала в щель теплицы. И в декабре, когда на всем растении ломоноса снаружи не осталось ни одного листа, эта единственная ветвь пышно зеленела в теплице.

●



Один ученый доктор занимался странным делом: целую зиму он брал воду из крана водопровода, разливал ее в сотни чашечек и рассматривал под микроскопом. Он так увлекся этим делом, что почти никуда не выходил,— все смотрел в микроскоп. Каждый день на столик доктору ставился стакан со свежей водой из водопровода — это и было единственной ежедневной новостью в лаборатории. Однажды доктора навестил другой ученый. «Какая лютая зима на дворе!» — сказал он входя. «Нет,—ответил доктор,—на дворе весна». «Не в микроскопе ли вы увидели ее?». «Вот именно,— сказал доктор.— Посмотрите сюда!» Посетитель подошел к микроскопу. В него он увидел необычайное население прозрачной воды. «Заметьте множество этих темных звездочек, — говорил доктор, — это водоросль астерионелла; эти медленно движущиеся палочки, похожие на гоночные лодки, — это водоросль «кораблик» («навикула»), и эти зеленые решотки и кубышки — все это микроскопическая растительность, микрофлора прозрачной воды. У нее свои законы развития. Такой она не была месяц назад и не будет через месяц: микрофлора показывает весну».

ПОДСНЕЖНИКИ

А. В. Кожевников,
старший научный сотрудник Московского ботанического сада

Кто не собирал первых весенних цветов: фиолетовую медуницу, лиловую хохлатку, желтую ветреницу, чистяк, гусиный лук? Но кто мог подумать, что эти скромные, всем известные первенцы весны—одни из самых удивительных растений наших лесов? Они зацветают на следующий день после снегосхода — это их первая загадочная особенность. Вчера еще лес был в снегу и лишь кое-где виднелись первые проталины, а сегодня то тут, то там розовеют бутоны медуницы. А еще через два—три теплых весенних дня множество цветов запестреет среди бурых прошлогодних листьев. И на улицах города начинают продавать лиловые и розовые букетики.

Два года подряд мне не удавалось разгадать эту загадку быстрого развития весенних растений. Как ни рано придешь в лес, а все же оказывается, что уже опоздал: снег только сходит, а цветы уже готовы распуститься. И лишь на третий год я нашел разгадку.

Работали тогда со мной две пионерки—юные натуралистки. И мы решили проследить развитие весенних растений с глубокой осени, чтобы ничего не прозевать.

В октябре пришли мы в лес. Отыскать наши растения оказалось нелегко: ветреница, чистяк и гусиный лук уже в конце июня отмирают и скрываются под землю — от них только и остаются, что подземные кладовые: корневища, клубки и луковицы. Надо копать землю, перебирать ее руками, чтобы найти мелкие корешки. Выручили мои помощницы. Весной они часто ходили в лес и хорошо запомнили места, где цвели цветы. Только так мы и нашли их.

И вот мы обнаружили очень любопытную вещь: ветреница, чистяк, гусиный лук уходят под снег почти совершенно не развившись, с едва заметными, бледными росточками.

Откуда же у них готовые цветы к весне? Когда они развиваются? Зимой?

Следующий раз мы пришли в лес в январе. С нами была лопата, мы раскопали снег. И тут же ждала неожиданность: почва под снегом оказалась талая несмотря на морозы! Эта замечательная особенность почвы липового леса об'ясняется тем, что в ней много перегнюя. Такая почва только слегка замерзает в осеннюю гололедицу и снова оттаивает под снегом.

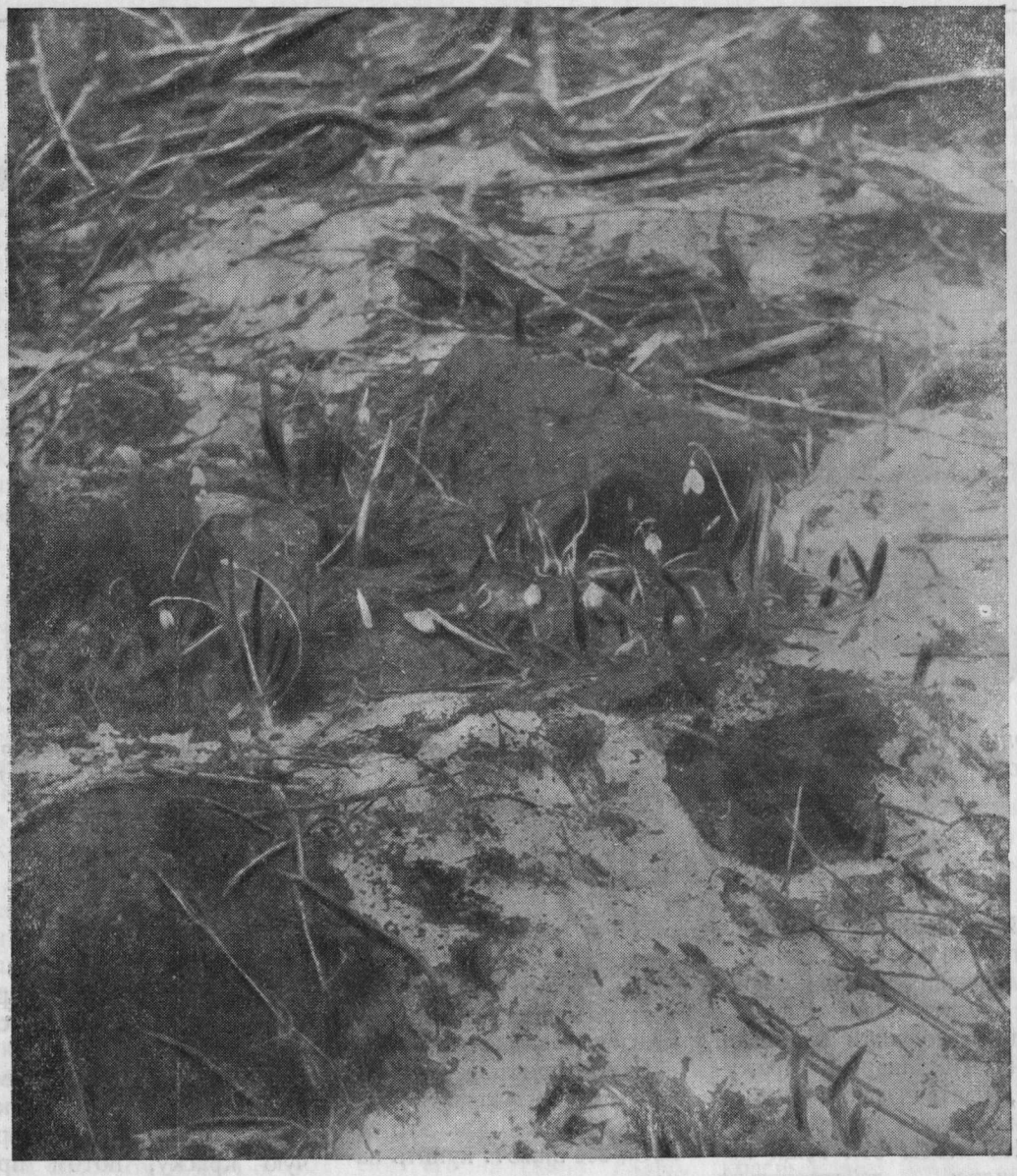
Так мы обнаружили вторую замечательную вещь: глубокой зимой под снегом жизнь в лесу не останавливается. Под листьями бегают насекомые, а крупные дождевые черви то и дело выползают на поверхность. Мороз на раскопанном нами месте обжигал их, и они коченели на глазах. Но самым интересным для нас открытием было то, что наши весенние растения уже не пришлось отыскивать под землей: их нежные ростки пробились сквозь опавшие листья и стояли прямо в снегу!

Итак, мы узнали об удивительном свойстве весенних растений—развиваться под снегом.

В середине апреля, когда в лесу уже быстро таял снег, мы нашли у медуницы стебель со слегка позеленевшими листьями и окрашенными бутонами. Несколько дней спустя молодые стебли весенних растений с бутонами торчали прямо из тающего снега, а в снегу образовались вокруг них маленькие воронки.

Но как же развиваются растения под снегом, без света? Они живут старыми запасами, накопленными в подземных кладовых—луковицах, корневищах и клубнях. Разрежьте осенью клубень чистяка или корневище ветреницы и капните иодом. Получится яркое синее пятно. Кладовые полны питательным крахмалом, тем самым, которого так много в клубнях картофеля. А в молодых растущих над снегом стеблях этих растений легко найти и сахар, проделав другой несложный опыт (с фелинговой жидкостью). Сахар образовался из крахмала. Он нужен растению для дыхания. Но сахару в них слишком много: больше чем надо только для дыхания. Сахар не дает нежным росткам замерзнуть в снегу в сильные морозы: ведь крепкий сахарный раствор (как и соленый раствор) замерзает при гораздо более низкой температуре чем чистая вода. Температура тающего снега держится на нуле. Но как только снег сойдет вокруг растения, сразу и намного становится теплей. И вот тогда-то рост стеблей и развитие бутонов ускоряется во много раз.

В теплый весенний день приложите линейку к стебельку медуницы, ветреницы или пролески и нанесите тушью заметки через



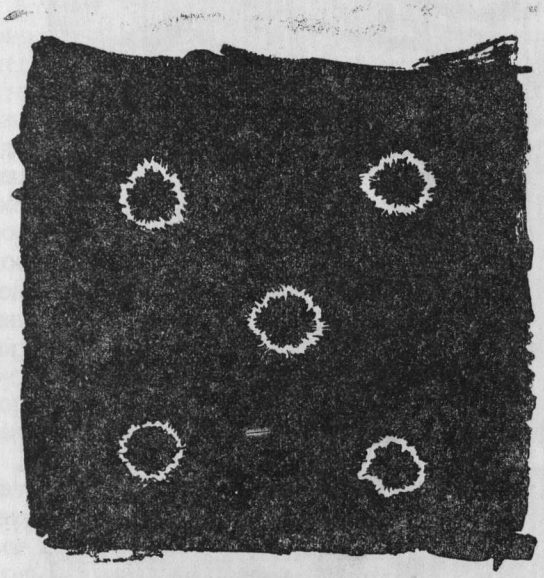
Бутоны и цветы торчат прямо из тающего снега.

каждые два миллиметра. Уже вечером заметки на стебле не сойдутся с делениями на линейке: стебель растет на глазах.

Но зачем нашим весенним цветам эта удивительная способность подснежного развития?

Она позволяет им быть первыми. Быть первыми—это значит захватить то время, когда лес еще не покрыт листвой, в нем много света, летают бабочки и шмели, переносящие пыльцу с цветка на цветок. Пройдет немного недель, и яркий свет исчезнет из-под густого лесного лиственного полога, исчезнут цветы, а с ними шмели и бабочки. Но в это время большинство наших подснежников уже принесло зрелые семена и многие из них отмерли, наполнив свои подземные кладовые.

Сейчас, когда вы читаете это, во всей средней и северной полосе Советского союза самый разгар короткого цветения подснежников. Давайте же, не теряя времени, наблюдать их. Только совсем недавно мы узнали самое замечательное об их жизни и об этом здесь рассказали. Но мы узнали, наверное, не все. И каждый из вас может еще открыть что-нибудь новое, чего не знает никто из ученых.



Вот простой рисунок горошинами, сделанный узелками, и рисунок, на котором видно, как нужно делать трафареты. То, что сделано черным,—это один цвет, темносерым—другой, светлосерым—третий.

Узоры на тканях

Из старых простынь, остатков материи, мешков, вылинявших тряпок можно сделать очень красивые вещи: подушки на диван, занавески, шарфы, абажуры, платья для кукол и даже платья для себя.

Но чтобы эти вещи получились действительно красивыми, материю надо раскрасить.

Всякая материя, из которой сшиты наши платья, тоже сначала была очень невзрачной. Она стала синей, красной, черной или покрылась рисунком только после того, как побывала на специальных отделочных фабриках.

На этих фабриках красят готовую материю в разные цвета и печатают на ней рисунки печатными машинами.

Но можно и дома, без всяких машин, самим очень красиво раскрасить ткань.

Самое простое—это выкрасить светлую материю в гладкий цвет. Как это делать, все знают: купить пакетик краски, высыпать краску в таз с горячей водой, хорошенько размешать и кипятить.

Но не для всякого дела идет гладкая материя. Подушка на диван, занавески или шарфик из гладкой, одноцветной материи наведут скуку.

А оказывается, что той же самой краской и в том же тазу можно покрасить материю, но она получится не гладкая, а с узором.

Крашение с „узелками“

Делается это очень просто. Берется длинный кусок материи и завязывается в нескольких местах узлами.

Если окунуть такой кусок на полминуты в горячую краску, потом промыть, высушить и развязать узлы, то на материи получатся белые полосы с неровными краями.

Таким же способом получают и двухцветный узор. Для этого надо взять кусок подлиннее и завязать на нем узлы пореже. Выкрасив этот кусок в одной краске, не развязывая прежних узлов, завязывают между ними новые, и материя красится еще раз в другой цвет, потемнее. Так полу-

чатся, на темном фоне белые и цветные полосы.

Если перед тем, как красить материю, ее в нескольких местах захватить пальцами, оттянуть и перевязать нитками, то после крашения на ней получится узор не полосками, а колечками. Колечки тоже можно сделать белые и цветные, окрашивая материю в двух разных красках поочереди.

Техника „батик"

Большого разнообразия рисунков при помощи завязывания ткани узелками не получишь. Цветные узоры на темном фоне получают и по-другому.

Этот способ называется «батик» и заключается в том, что на светлой ткани делают сначала рисунок воском, потом ее красят, а когда ткань высохнет, воск снимают. В тех местах, где был воск, краска не прокрасит материю и на ткани получится узор.

Делается это так. Материю, которую нужно покрасить, кладут на стол, растапливают воск в металлической баночке и, обмакнув в него проволоку, рисуют нужный рисунок.

Чтобы воск не застывал, проволоку нужно нагреть.

При окраске материи этим способом нужно остудить разведенную краску, потому что в горячей краске воск растает и рисунок размажется.

Когда материя высохнет, ее нужно прогладить горячим утюгом между двумя газетами. Воск растопится и впитается в бумагу, а на материи останется светлый рисунок.

Вместо воска еще лучше взять парафин. Способом «батик» можно покрасить материю и в несколько цветов. На белой материи, например, можно посадить горошины в шахматном порядке, выкрасить материю в желтый цвет, высушить (но не проглаживать утюгом) и под каждой восковой горошиной посадить еще по две. После этого выкрасить материю в голубой цвет и тогда уже выгладить все сразу.

Получатся желтые и белые горошины по зеленому полю.

Набойка по трафаретам

Есть еще очень простой способ окраски ткани, с помощью которого можно сделать очень красивые занавески, наволочки, и скатерти из грубой, толстой материи.

Тут уже вместо красок для материи берутся обыкновенные масляные краски.

Можно, конечно, нарисовать рисунок на материи масляными красками прямо от руки, но это сложная и кропотливая работа, и очень трудно сделать рисунок акуратно. Гораздо проще заранее заготовить рисунок и потом прямо печатать его на ткани. Ткань, украшенная таким способом, так и называется — ручная набойка. Но чтобы сделать ручную набойку, нужно сначала сделать печатную форму, а это не каждый сумеет.

Вместо печатной формы мы сделаем трафареты. Для этого выберем какой-нибудь несложный рисунок в один или несколько цветов, перерисуем его на бумагу и раскрасим акварелью или цветными карандашами.

Потом каждый цвет рисунка отдельно переведем через копировальную бумагу на отдельные кусочки тонкого картона и маленькими ножницами акуратно вырежем рисунок так, чтобы на месте каждого цвета остались дырки. Эти кусочки картона с дырками вместо рисунка и называются трафаретами. Растянем холст на столе, положим на угол любой из трафаретов, приколем кнопками, чтобы он не с'ехал, и начнем печатать, например, зеленым цветом.

Для этого нам нужно будет запастись толстой кистью. Только нужно туго обмотать тонкой веревкой так, чтобы щетина получилась короткой и густой.

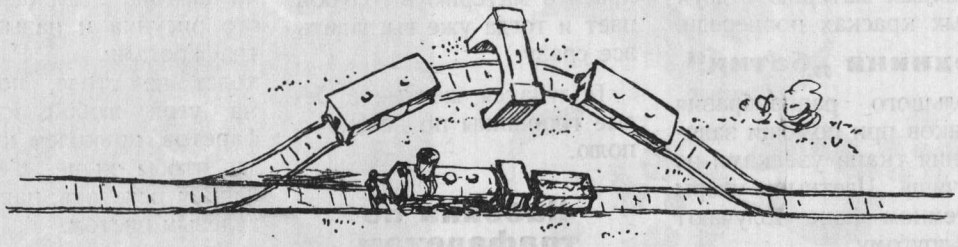
Выдавим немного зеленой краски на кусок стекла, разотрем ее кистью и начнем набивать краску кистью по вырезанным в трафарете дыркам.

Точно так же нужно напечатать зеленый рисунок по этому же трафарету на других углах, потом вымыть кисть в воде мылом, вытереть ее тряпочкой и печатать другой цвет. Для этого надо наложить второй трафарет, например красный, так, чтобы зеленый цвет совпадал с красным, как на рисунке.

Так же наносить и третий, например черный цвет.

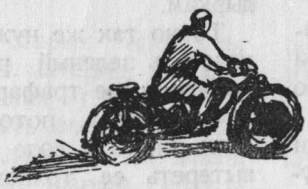
Под набойку годится любая материя. Можно, например, из старого мешка сделать очень красивый коврик. Какую-нибудь выцветшую холстинку можно выкрасить в темный цвет, а потом набить на ней рисунок светлыми красками.

Загадки доктора Каррабелиуса



Можешь ли ты стать диспетчером?

Через арку, которая нарисована вверху, может пройти вагон, но паровоз пройти не может. Как паровозу, маневрируя, переставить вагоны первый на место второго, а второй на место первого и самому снова встать на прежнее место?



ГОНКИ

Недавно были устроены гонки автомобилей и мотоциклов. Пошел я посмотреть. Только я устроился поудобнее на заборе, как мимо пронеслось много машин. Неслись они так быстро, что я не успел сосчитать, сколько было отдельно мотоциклов и сколько автомобилей. И никто не успел. А узнать хочется.

Пошел я на площадь, откуда они выезжали. Вижу: стоит человек с насосом.

— Вы, — спрашиваю, — не знаете, сколько мотоциклов и сколько автомобилей участвуют в гонках?

— Как не знать: я им всем шины накачивал, — двадцать пять машин.

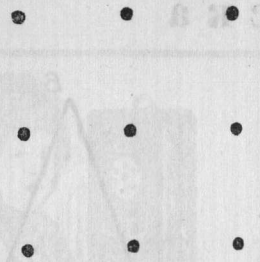
— А отдельно?

— А вот отдельно не помню. Помню только, что накачал вот этим насосом шины на семидесяти колесах. Я думаю, что вы сами теперь сосчитаете, сколько было мотоциклов и автомобилей в отдельности.

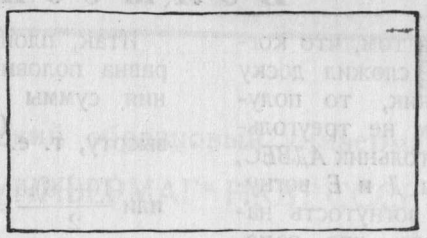
Пошел я от человека с насосом, а сам в уме считаю и никак не могу сосчитать!

Помогите, ребята!

ГОЛОВОЛОМКА



Зачеркните четырьмя прямыми линиями все девять точек, не отрывая карандаша от бумаги, то есть одной ломаной линией, составленной из четырех прямых.



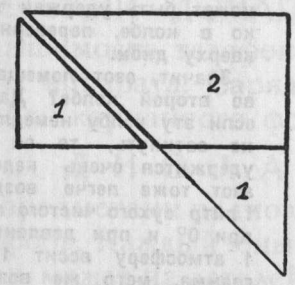
Разрезать прямоугольник на много частей и составлять из них различные фигуры вы умеете.

А вот попробуйте-ка этот прямоугольник разрезать всего-навсего на две совершенно одинаковые части и составить из них квадрат!

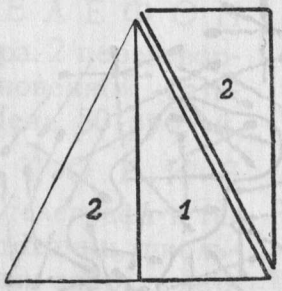
ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ, ПОМЕЩЕННЫЕ В № 1

ПРЯМОУГОЛЬНИК

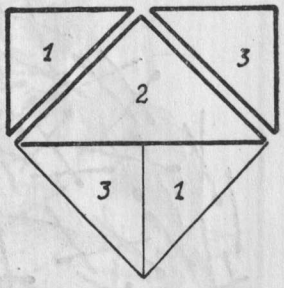
Разрезать прямоугольник надо так:



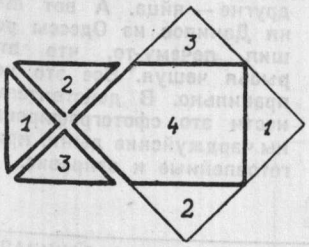
а) на две части, чтобы составить прямоугольный треугольник;



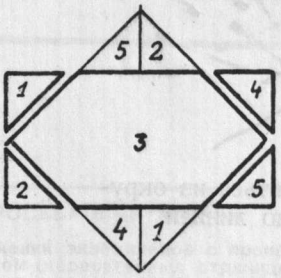
б) на две части и сложить равнобедренный треугольник;



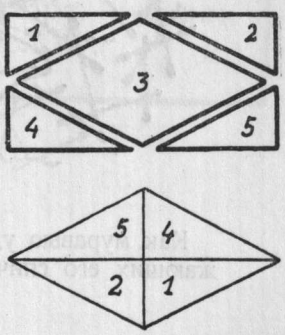
в) на три части и сложить квадрат;



г) на четыре части и сложить квадрат;



д) на пять частей и сложить квадрат;



е) на пять частей и сложить два одинаковых ромба.

Волшебная доска

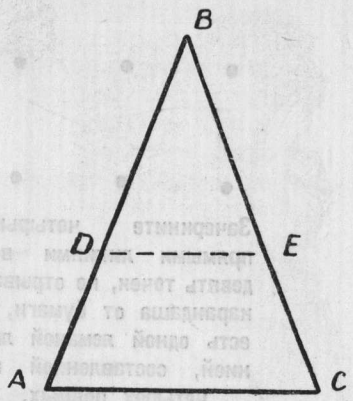
Все дело в том, что когда мальчик сложил доску в треугольник, то получился совсем не треугольник, а пятиугольник *АДВЕС*, причем углы *Д* и *Е* вогнутые. Эта вогнутость настолько мала, что заметить ее очень трудно. Благодаря этому и «получилась» лишняя клетка.

Для того чтобы убедиться, что лишней клетки нет, достаточно сосчитать клетки в трапеции *АДЕС* и в треугольнике *ДВЕ* отдельно. А треугольник *АВС* именно из этих двух фигур и составлен.

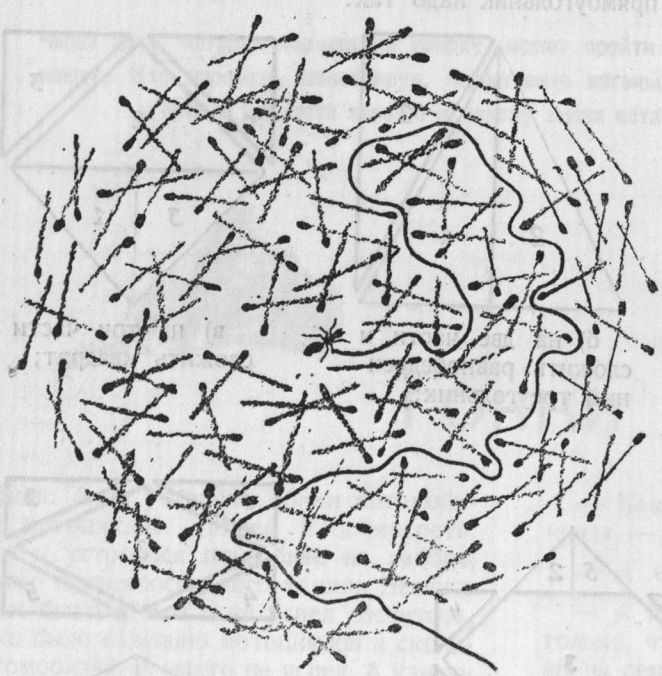
Итак, площадь трапеции равна половине произведения суммы оснований на высоту, т. е. $\frac{(АС+ДЕ)}{2} \cdot 5$, или $\frac{(10+6) \cdot 5}{2} = 40$ клеток.

Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, т. е. $\frac{ДЕ \cdot 8}{2}$ или $\frac{6 \cdot 8}{2} = 24$ клетки.

А площадь всего треугольника *АВС* равна $40 + 24 = 64$ клеткам, т. е. площади бывшей доски. И никакой лишней клетки на самом деле не получилось!



МУРАВЕЙ



Как муравью удалось выбраться из окружающих его спичек, показано линией.

АЗОТ И ВОДОРОД

Водород—один из самых легких газов, поэтому он может быть удержан только в колбе, перевернутой кверху дном.

Значит, азот помещается во второй колбе? Да. Но если эту колбу немедленно не заткнуть, то он там удержится очень недолго: азот тоже легче воздуха. 1 литр сухого чистого азота при 0° и при давлении в 1 атмосферу весит 1,2507 грамма, метр же воздуха при тех же условиях весит 1,2929 грамма.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

В № 1 мы поместили фотографию и попросили ребят ответить, что там снято. Ответов мы получили много и самые различные: кто пишет, что это дробь, другие — яйца. А вот Женя Данилов из Одессы решил почему-то, что это рыбья чешуя. Все это неправильно. В действительности это сфотографированы чарджуйские дыни, приготовленные к отправке.

Ответ. редактор **Б. ИВАНТЕР** Худ. редактор **М. АСКИНАЗИ**

Сдано в набор 23/III 1936 г. Подписано к печати 8/IV 1936 г. Изд. № 378. Формат 82×110 см.

8 п. л. 80 640 зн. в печ. листе. **Адрес редакции: Москва, Ленинградское шоссе, ул. «Правды», 24.**

Уполномоченный Главлита № Ь—21583 Зак. № 550 Тираж 70 000

Типография газеты „Правда“ им. Сталина, Москва, ул. „Правды“, 24.

Ленинградский образцовый универмаг

„ЛЕНСОЮЗУНИВЕРМАГ“ НКВТ СССР

„П А С С А Ж“

Проспект 25 Октября, 48, тел. 51-20, 190-97.

НОВОСТЬ!

Поступили в продажу новые оригинальные технические

И Г Р У Ш К И

ДЕТСКИЙ ДОМАШНИЙ Т Е Л Е Ф О Н

слышимость телефона 3 километра. 2 переговорных аппарата. Зарядка от обыкновенной батарейки карманного фонаря. Цена 80 рублей.

Р А Д И О Л А Б О Р А Т О Р И Я

с предметами радиоаппаратуры, телеграфа и телефона. Каждый юный любитель техники, школьник может из деталей этой игрушки собрать детский радиоприемник, телефонный аппарат „телефон“. Цена 70 рублей.

Кроме того в „Детском мире“ громадный выбор всевозможных высококачественных игрушек (мячи, куклы, конструктора, кубики), новые занимательные игры: „КТО ПОЙМАЕТ“, „ЗООСАД“.

ПРОСЬБА К ЧИТАТЕЛЯМ:

При обнаружении экземпляров с производственным браком (перепутанные страницы, плохая печать и т. п.) возвращать их для обмена в издательство „Правда“

Адрес: Москва 40, ул. „Правды“. 24, ком. № 216

ЦЕНА 1 р. 30 к. М2649

П29
34.

Ц. 1936 г.
Акт № 104
Вкладн. л. 1